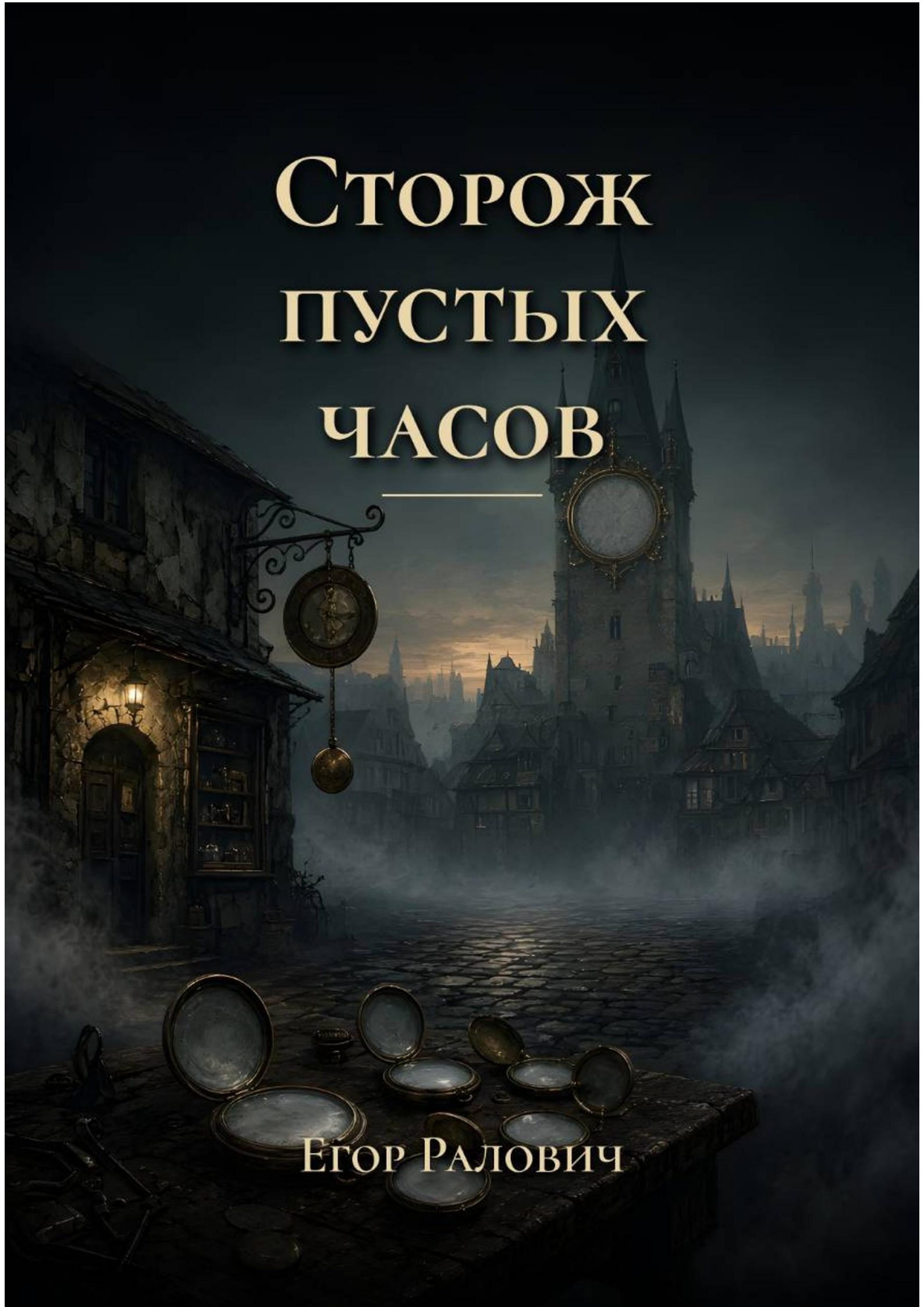

Сторож
пустых
часов
Егор Ралович

Егор Ралович

Сторож пустых часов

«Автор»
2026

Ралович Е.

Сторож пустых часов / Е. Ралович — «Автор», 2026

В Верстани время жизни – товар. Отмерщики умеют вынуть из человека год и запечатать его в часовой корпус без стрелок, а годы закладывают, продают и покупают, как зерно. Матвей Ключарёв, изгнанный из Гильдии Отмера часовщик, держит ломбард «Под маятником» и знает цену каждому чужому году: одиннадцать своих он продал ради сестры, которую так и не спас.Когда серый скупщик за неделю выкупает по городу триста невыкупленных лет, а на окраинах находят пустых мертвецов с незаконными договорами, Матвей начинает собственное расследование. Рядом с ним – четырнадцатилетняя Уста, которая тайком продаёт свои часы, чтобы кормить братьев, и усталый пристав Шершнев, сам когда-то заложивший годы за долги.Большие часы на Ратуше отстают, в Нижней слободе расползается Безвременье, а глава Гильдии строит что-то под городом. Чтобы остановить его, Матвею придётся понять, чего стоит год, отданный не за деньги.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Под маятником 5
Глава 2. Слухи с Сутяжной 11
Глава 3. Пустой 17
Глава 4. Гильдия 23
Глава 5. Ночной гость 29
Глава 6. Подручная 35
Глава 7. Хлебный двор 41
Глава 8. Сыскная управа 47
Глава 9. Сто сорок лет 53
Глава 10. Нижняя слобода 59
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Егор Ралович
Сторож пустых часов

Глава 1. Под маятником

Колокол на Ратуше пробил девять, и Матвей Ключарёв, не поднимая головы от верстака, отметил про себя, что звон опоздал. Немного, на два вдоха, не больше. Но он слышал это опоздание так же ясно, как слышал бы фальшивую ноту в церковном хоре. Двадцать лет за часовым делом приучили его ухо к ровному ходу, и всякий сбой царапал изнутри, как песчинка под веком.

– Опять, – сказал он вслух, хотя в ломбарде никого не было.

Напольные часы в углу, высокие, тёмного ореха, с латунным маятником размером с тарелку, ответили ему мерным стуком. Эти часы не врали никогда. Их собрал ещё его учитель, Нестор Ильич Гарь, и подарил Матвею в тот день, когда тот открыл своё дело. «Пусть хоть что-то у тебя идёт как надо», – сказал тогда старик. Матвей не обиделся. Старик был прав.

Ломбард «Под маятником» занимал первый этаж узкого дома на Сутяжной улице, между лавкой стряпчего и заколоченной цирюльней. Вывеска висела над дверью – медный круг с качающейся стрелкой, начищенный до блеска, потому что в этом квартале по вывеске судили о честности хозяина. Внутри было тесно и чисто: стойка с решёткой, за ней верстак, за верстаком стена. Вся стена от пола до потолка была в ячейках, и в каждой ячейке лежали пустые часы.

Так их называли в Верстани. Обычный часовой корпус, серебряный, медный, бывало и оловянный, только без стрелок, без циферблата, с глухой крышкой. Внутри не было ни колёс, ни пружин. Если открыть крышку – а открывать её без нужды было нельзя, – внутри теплился серый, будто пыльный свет, и тихо, на пределе слуха, тикал. Это тикало чьё-то время. Чей-то год, месяц или неделя, вынутые из живого человека и запечатанные под крышку.

Матвей отложил лупу и посмотрел на стену. Сто сорок два корпуса. Сто сорок два заклада. Он знал каждый по номеру и почти каждый по лицу хозяина.

Дверной колокольчик звякнул робко, словно его тронули пальцем, а не дверью.

Вошла женщина в сером платке, с красными, распаренными до трещин руками. Прачка, понял Матвей прежде, чем она заговорила. Руки прачек он узнавал так же, как ход часов. Женщина огляделась, увидела стену с ячейками и отступила на полшага, будто стена могла на неё упасть.

– Здравствуйте, – сказала она. – Мне сказали… Мне сказали, вы честно берёте.

– Беру по уложению, – ответил Матвей. – Честно или нет, решать вам. Садитесь.

Она села на табурет у решётки, сложила руки на коленях и тут же спрятала их под платок.

– Мне нужен заклад, – сказала она. – Год.

– Целый год, – повторил Матвей. Он не спрашивал, он уточнял. Люди часто путались, приходили за годом, а уходили, заложив месяц, или наоборот. – Вы раньше закладывали?

– Нет. Никогда. Ни дня.

– Продавали?

– Нет.

Он кивнул и придвинул к себе толстую книгу в коже. Записал дату, поставил номер.

– Имя.

– Марфа Клёнова. С Мыльной улицы, за мостом.

– Зачем вам год, Марфа?

Она подняла на него глаза. Глаза были светлые, как разбавленное молоко, и очень усталые.

– А это обязательно?

– Нет, – сказал Матвей. – Но я спрашиваю всех. Если вы скажете «на вино», я возьму и так. Если скажете «на лекарство», я скажу, где оно дешевле.

Женщина помолчала.

– Сын, – сказала она наконец. – Гриша. Восемь лет. У него кашель с кровью с самой весны. Лекарь с Каменной сказал, есть отвар из северного мха, его везут с порогов, и стоит он… – она назвала цену, и Матвей не моргнул, хотя цена была грабительская. – Если пить всю зиму, может, отпустит. А может, и нет. Но если не пить, то точно нет.

– Год у меня стоит четыре серебряных рубля, – сказал Матвей. – Это по уложению. Выкуп через двенадцать месяцев, рост – десять дней сверху, то есть выкупать будете годом и десятью днями. Или деньгами, по курсу Гильдии на день выкупа. Если не выкупите в срок, год останется у меня, и я вправе его продать. Вы это понимаете?

– Понимаю.

– Четырёх рублей хватит на мох?

– На ползимы, – сказала она тихо.

Матвей посмотрел на её руки, которые она снова вынула из-под платка и теперь мяла уголок.

– Я дам пять, – сказал он. – Пятый в долг без роста, отдадите, когда сможете. Только мох берите не на Каменной. Там же, у Каменного моста, есть травница Липа, в подвале под вывеской с совой. У неё тот же мох, она берёт его у тех же возчиков, а продаёт вдвое дешевле. Скажете, что от Ключарёва.

Женщина смотрела на него так, будто он заговорил на чужом языке.

– Зачем вы это делаете?

– Мне невыгодно, чтобы закладчики умирали, – сухо сказал Матвей. – Мёртвые не выкупают.

Это была неправда, вернее, не вся правда, но вся правда никому не была нужна.

Он встал и открыл дверцу в решётке.

– Проходите.

За верстаком, в нише, отгороженной от улицы плотной занавесью, стояло кресло отмерщика. Старое, кожаное, с высокими подлокотниками и медными скобами для запястий. Скобы Матвей никогда не застёгивал, хотя по уставу Гильдии полагалось. Над креслом на кронштейне висело мерило – медный прибор, похожий на барометр, с длинной иглой и шкалой, расчерченной не на градусы, а на годы.

– Руку, – сказал он.

Марфа положила руку на подлокотник ладонью вверх. Матвей обтёр её запястье спиртом, приложил к пульсу медную чашечку мерила и подождал. Игла дрогнула, качнулась и пошла вверх, медленно, неохотно, как будто ей было тяжело. Остановилась у отметки сорок один, подумала и сползла к тридцати восьми.

– Сколько? – шёпотом спросила Марфа.

– Много, – сказал Матвей. – Мерило не скажет точно, оно не гадалка. Но вам хватит, чтобы вырастить сына и понянчить внуков.

Он не сказал ей цифру. Цифру он никогда не говорил. Люди, узнав, сколько им осталось, начинали жить по этой цифре, а цифра была приблизительной, и они либо тратили себя впустую, либо умирали от страха раньше срока.

Потом он взял ланцет.

Ланцет отмерщика не похож на хирургический. Это тонкая серебряная игла длиной в ладонь, полая, с часовой головкой на тупом конце. В головке – крошечная пружина и спусковой зуб, и всё это вместе работает как насос, только качает не кровь. Кровь при отмере не идёт вовсе. Идёт время.

– Будет холодно, – предупредил Матвей. – И, может быть, вы что-нибудь вспомните. Это нормально. Не пугайтесь.

– Что вспомню?

– Что-нибудь. Обычно из детства.

Он поставил пустой корпус в гнездо на подлокотнике, соединил его с ланцетом тонкой серебряной трубкой и ввёл иглу под кожу на запястье, туда, где у человека бьётся пульс. Марфа вздрогнула. Матвей повернул головку ланцета на один оборот.

Пружина щёлкнула.

В нише стало холоднее, будто кто-то открыл окно в январь. По серебряной трубке поползло тусклое, сероватое свечение, сначала рывками, потом ровной струйкой, как дым. Корпус в гнезде тихо загудел. Марфа смотрела в пустоту широко открытыми глазами, губы её шевелились.

– Яблоки, – сказала она. – У бабушки в саду. Белый налив. Я лезу на дерево, а она кричит…

– Хорошо, – сказал Матвей. – Держитесь за это.

Отмер одного года занимал примерно столько времени, сколько нужно, чтобы медленно прочитать «Отче наш» три раза. Матвей не читал. Он смотрел на мерило и на свечение в трубке, следил, чтобы струйка шла ровно, без пузырей. Пузыри значили, что вместе со временем идёт что-то ещё, что брать нельзя. Он видел однажды, как это бывает, и с тех пор следил.

Игла мерила сползла на одно деление.

Матвей повернул головку обратно, щелчок, и вынул ланцет. На запястье Марфы осталась крошечная белая точка, похожая на след от укуса комара. Через час она пройдёт.

– Всё, – сказал он.

Марфа моргнула.

– Уже?

– Уже. Как вы себя чувствуете?

Она прислушалась к себе.

– Будто… будто я что-то забыла. Не помню что.

– Так и должно быть. К вечеру пройдёт.

Он закрыл корпус, щёлкнул замочком, поднёс к уху. Ровное, тёплое тиканье. Хороший год. Чистый. У людей, которые раньше ничего не продавали, годы всегда были чистыми, без пыли и шороха, их было приятно держать в руке. Он выгравировал на крышке номер – сто сорок три – и положил корпус в ячейку. Потом выписал билет: плотная бумага с гербом Гильдии, номер, дата, срок выкупа, подпись закладчика, подпись закладчика лет, печать ломбарда.

Марфа расписалась крестом, а под крестом, неуверенно, вывела «Марфа».

– Этот билет не теряйте, – сказал Матвей. – Без него выкупить будет трудно. С ним – просто.

Он отсчитал пять серебряных рублей, положил на стойку. Марфа сгребла их, зажала в кулаке и вдруг, неловко, поклонилась.

– Спасибо.

– К Липе, – напомнил он. – Под совой.

Когда за ней закрылась дверь, Матвей сел за верстак и долго смотрел на ячейку сто сорок три. Потом вернулся к работе.

Работы было много. Кроме закладов, он чинил обычные часы: карманные, настенные, каминные. Это приносило меньше денег, но больше покоя. Шестерёнки не плакали, не врали и не умирали от чахотки. Сейчас перед ним лежал разобранный механизм дорожных часов купца Ряднова, и в механизме была беда: кто-то, вероятно, сам купец, пытался подтянуть ход и сорвал два зуба на анкерном колесе.

К полудню пришли ещё трое. Старый сапожник Еремей, который закладывал неделю каждый месяц и каждый месяц её выкупал, – это у него было вроде займа до получки. Молодой франт в зелёном сюртуке, желавший продать месяц на игру; Матвей ему отказал, и тот ушёл, хлопнув дверью и пообещав пожаловаться в Гильдию. И вдова Шубина, которая пришла выкупить свои полгода и плакала от облегчения, прижимая корпус к груди.

Выкупленное время возвращали так же, как брали: ланцетом. Только наоборот. Вдова сидела в кресле, а серое свечение текло из корпуса в её запястье, и она улыбалась, как ребёнок, которому вернули потерянную игрушку.

– Я забыла, как пахнет мамин хлеб, – сказала она потом. – А теперь вспомнила. Это ведь было там, в этих полгода?

– Наверное, – сказал Матвей. – Время забирает что хочет. Возвращает, к счастью, всё.

К вечеру он починил часы Ряднова, поел хлеба с салом, запил остывшим чаем и сел разбирать книгу. Это было ежемесячное дело и самое неприятное. Каждый месяц какие-то билеты истекали. Люди не приходили. Умирали, уезжали, спивались, забывали. Или просто не могли собрать деньги. По уложению, невыкупленный год переходил в собственность закладчика, и закладчик был обязан либо продать его на торгах Гильдии в течение сорока дней, либо держать у себя за свой счёт, платя сбор.

Матвей не любил торги. На торгах годы покупали богатые старики, а потом жили по сто двадцать, по сто сорок лет, и во сне видели чужое детство. Он держал просроченные годы сколько мог, в надежде, что хозяева всё-таки придут. Иногда приходили. Чаще нет.

В этом месяце просрочено было семнадцать билетов. Семнадцать лет, если пересчитать в целых годах. Он выписал номера на отдельный лист и как раз собирался подшить его к книге, когда колокольчик звякнул снова.

На этот раз звякнул резко, коротко, как будто дверь открыли одним точным движением.

Вошедший был сер с головы до ног. Не седой, а именно серый: серое пальто, серая шляпа, серые перчатки, серое лицо. Даже глаза были цвета мокрого пепла. Он снял шляпу, и под ней оказались редкие, тоже серые волосы, приглаженные на пробор.

– Господин Ключарёв? – голос у него был тихий и сухой, будто шуршала бумага.

– Он самый.

– Пустошкин, Тит Ефимович. Поверенный. – Он положил на стойку визитную карточку. На карточке не было ничего, кроме имени и слова «поверенный». Ни адреса, ни конторы. – Я по делу.

– Закладываете или выкупаете?

– Покупаю, – сказал Пустошкин. – Мне сообщили, что у вас имеются просроченные билеты за текущий месяц.

Матвей посмотрел на него внимательнее. Сведения о просроченных билетах не были тайной, ломбарды обязаны были вывешивать списки в Гильдии за десять дней до торгов. Но списки за этот месяц ещё не вывешивались. Матвей только что сам их составил.

– Кто вам сообщил?

– Это имеет значение?

– Для меня – да.

Пустошкин чуть заметно улыбнулся. Улыбка тоже была серая, бескровная.

– Скажем, у меня хорошие знакомые в Гильдии. Я покупаю вне торгов, по цене вдвое выше торговой. Это законно: уложение позволяет закладчику продать просроченный год частному лицу, если покупатель имеет право на покупку и если сделка заверена. Я имею право. Вот, – он выложил на стойку сложенную бумагу.

Матвей развернул её. Разрешение Гильдии Отмера на покупку времени в пределах уложения, выписанное на имя Тита Ефимовича Пустошкина. Подпись казначея, печать. Всё было в порядке. Даже слишком: бумага была новая, хрустящая, выписанная три дня назад.

– Предел по уложению – двадцать лет за десятилетие, – сказал Матвей. – Семнадцать – это почти весь ваш предел.

– Я в курсе, – сказал Пустошкин.

– И вы готовы потратить его за один вечер в одной лавке?

– Я готов заплатить вдвое против торгов. Остальное, господин Ключарёв, моё дело.

Матвей сложил бумагу. Положил её на стойку. Подумал.

Ему не нравился этот человек. Не нравилось, что тот знал о списке. Не нравилось, что тот был так сер, будто его самого, как старый корпус, выскоблили изнутри. Но закон был на стороне Пустошкина, а у Матвея на счету в Гильдии висел долг за сбор, и долг этот рос. Двойная цена за семнадцать лет – это было много. Это был сбор на три года вперёд.

И всё же…

– Почему мне? – спросил он. – В Верстани сорок ломбардов.

– А почему бы и не вам? – Пустошкин пожал плечами. – Вы же не единственный, с кем я веду дела.

Это прозвучало как ответ, хотя ответом не было. Матвей молча открыл книгу, нашёл первый просроченный номер, вынул из ячейки корпус и положил на стойку. Пустошкин достал из кармана кожаный кошель и высыпал на стойку горсть монет.

Монеты были золотые.

Матвей взял одну. Тяжёлая, холодная. Очень холодная, холоднее, чем должно быть металлу в тёплой комнате. На одной стороне – Большие часы на Ратуше, на другой – двуглавый орёл старого образца и год. Год был такой, что Матвей посмотрел второй раз. Эти монеты чеканили при деде нынешнего городского головы. Их давно изъяли из оборота, переплавили, их можно было найти только у собирателей. Но в оплате они годились, потому что золото оставалось золотом.

– Где вы это взяли? – спросил он.

– В банке, – ответил Пустошкин, не моргнув.

Матвей подержал монету в пальцах. Холод не уходил. Он не грелся от руки.

Он ничего не сказал. Отсчитал, сколько полагалось за первый год. Потом за второй. За третий. Пустошкин принимал корпуса и убирал их в плоский саквояж, обитый изнутри войлоком, как футляр для скрипки. Каждый корпус ложился в своё гнездо. Матвей заметил, что гнёзд в саквояже много больше семнадцати. Человек пришёл с запасом.

Когда последний, семнадцатый корпус лёг в войлок, Пустошкин не закрыл саквояж. Он посмотрел на стену с ячейками, медленно, как смотрят на витрину в кондитерской.

– Ещё один, – сказал он.

– Просроченных больше нет.

– Я знаю. Мне нужен непросроченный. Номер сто сорок три.

Матвей замер. Сто сорок три. Год Марфы Клёновой, заложенный сегодня утром. Его ещё не было в книге даже чернилами – он внёс её, но не подшил. Никто, кроме самого Матвея и Марфы, не мог знать этот номер.

– Этот год не продаётся, – сказал Матвей. – Он заложен, срок выкупа через двенадцать месяцев.

– Я выкуплю его за хозяйку, – мягко сказал Пустошкин. – Втрое против торговой цены. Вам – за беспокойство. Хозяйке – отдельно, столько, сколько она пожелает. Поверьте, она будет довольна.

– Выкупить заклад может только тот, на чьё имя выписан билет. Или по его доверенности, заверенной в Гильдии.

– Доверенность будет.

– Когда будет, тогда и поговорим.

Пустошкин помолчал. Потом медленно закрыл саквояж, щёлкнул замками.

– Вы неправильно понимаете ситуацию, господин Ключарёв, – сказал он так же тихо. – Я предлагаю вам выгодную сделку. Хозяйке – тоже. Никто не пострадает. Год есть год, какая разница, у кого он лежит.

– Разница есть, – сказал Матвей. – Она сегодня сидела вот в этом кресле и вспоминала, как лазила на яблоню за белым наливом. Её год лежит у меня, потому что она мне его доверила. Не вам.

– Это сантименты.

– Это закон. Уложение о мере, статья двенадцатая. Заклад не подлежит отчуждению до истечения срока без согласия закладчика, выраженного лично.

Пустошкин посмотрел на него долгим, ничего не выражающим взглядом. Потом надел шляпу.

– Я передам ваш ответ, – сказал он.

– Кому?

– Тому, кто спросит.

Он вышел. Колокольчик звякнул так же коротко и точно, как в первый раз. За окном серое пальто мелькнуло, свернуло к мосту и растворилось в вечерних сумерках, будто его и не было.

Матвей ещё долго стоял у стойки. Перед ним лежала горсть золотых монет, и от неё тянуло холодом, как от колодца.

Он взял одну монету и положил на верстак рядом с термометром, которым проверял смазку. Через пять минут ртуть опустилась на два деления. Через десять – на три. Монета не грелась. Монета охлаждала всё вокруг.

– Так, – сказал Матвей.

Он сгрёб монеты в жестяную коробку из-под чая, закрыл крышку и убрал коробку в несгораемый шкаф. Потом подошёл к стене и вынул из ячейки корпус номер сто сорок три. Поднёс к уху. Год Марфы тикал ровно и тепло, как спящий ребёнок. Он единственный во всей стене был тёплым на ощупь. Матвей это заметил ещё утром, но не придал значения. Теперь придал.

Он постоял, держа корпус в руке. Потом подошёл к напольным часам Гаря, открыл стеклянную дверцу и осторожно, чтобы не сбить ход, отвёл маятник в сторону. В латунном диске маятника была полость – старик когда-то сделал её для грузика, чтобы точнее подогнать период, но грузик Матвей давно поставил снаружи. Корпус Марфы вошёл в полость, как в гнездо. Матвей закрыл её крышечкой, отпустил маятник, послушал. Ход изменился едва заметно, на волосок. Он подвернул грузик и выровнял.

Затем вернулся к ячейке сто сорок три и положил туда пустой, ничем не наполненный корпус. Такой же серебряный, с таким же номером, только что выгравированным.

Он не мог бы объяснить, зачем это делает. Просто двадцать лет за часовым делом научили его: если ход начал сбиваться, ищи песчинку. А песчинка, похоже, только что вошла в его дверь в сером пальто.

Колокол на Ратуше пробил десять. Опоздал на три вдоха.

Матвей запер дверь, погасил лампу и долго сидел в темноте, слушая, как у него за спиной мерно, неторопливо стучит маятник, в котором теперь спал чужой год.

Глава 2. Слухи с Сутяжной

Утро выдалось сырым. Над Верстой стоял туман, такой плотный, что с середины моста нельзя было разглядеть ни одного берега, и казалось, будто мост висит в молоке ни на чём. Матвей шёл по нему быстро, подняв воротник, и слушал, как где-то внизу, под туманом, плещет вода и перекликаются лодочники.

Ломбард он не открыл. Повесил на дверь табличку «Закрыто до полудня», а сам отправился по соседям.

Закладчиков лет в Верстани было сорок два, если считать только тех, у кого была бумага от Гильдии. Без бумаги – втрое больше, но с теми Матвей дел не имел. Почти все держали лавки в трёх кварталах: на Сутяжной, на Меняльной и в Залоговом ряду у старого рынка. Гильдия любила, когда ремесло собрано в одном месте. Так проще проверять.

Первым он зашёл к Захару Рябому.

Рябой держал ломбард дольше всех на Сутяжной, лет сорок, и сам был похож на старый заложенный корпус – тусклый, поцарапанный, с глухой крышкой. Лицо у него было изрыто оспой, отчего он и получил прозвище, давно заменившее фамилию. Он сидел за стойкой в вязаной безрукавке и пил чай из блюдца.

– Ключарёв, – сказал он, не вставая. – Ранний ты. Чего тебе?

– Поговорить, Захар Петрович.

– Говори. Только быстро, у меня в десять стряпчий с описью.

Матвей сел напротив, на табурет для закладчиков.

– Вчера ко мне приходил человек. Серый такой. Пустошкиным назвался. Купил все мои просроченные годы. Вдвое против торгов.

Рябой перестал дуть на чай.

– Вдвое, – повторил он. – Мне он дал втрое.

– Когда?

– Четыре дня как. Двадцать два года взял. Всё, что было. Я ещё подумал – дурак, что ли. А он золотом платит. Старым.

– Холодным, – сказал Матвей.

Рябой посмотрел на него поверх блюдца.

– Ты тоже заметил?

– Заметил. Монеты не греются.

– Я свои сразу снёс меняле на Каменную, – сказал Рябой. – Меняла взял, глазом не моргнул, только руки потом об сюртук вытирал, будто от рыбы. А мне что? Деньги – они и есть деньги.

– А на непросроченные он что-нибудь предлагал?

Рябой поставил блюдце. Помолчал.

– Предлагал, – сказал он нехотя. – Один. Девка с Мыльной улицы, неделю назад месяц у меня заложила, на свадьбу сестре. Он хотел именно его. Говорил, выкупит за хозяйку, втрое, доверенность принесёт.

– Принёс?

– Принёс, – Рябой отвёл глаза. – Через два дня. С её крестом и печатью Гильдии. Всё чин чином.

– И ты отдал.

– А что мне было делать? Бумага законная.

Матвей молча смотрел на него. Рябой выдержал этот взгляд с полминуты, потом зло дёрнул плечом.

– Ну чего ты на меня смотришь? Ты всегда так смотришь, будто мы тут все в чём-то виноваты, а ты один чистенький. Я тебе не Гильдия, я в чужие кресты не вглядываюсь. Есть печать – значит, есть.

– Как звали девку?

– Ты у меня книгу проверять пришёл?

– Захар Петрович.

Рябой выругался, полез под стойку, вытащил книгу, полистал.

– Анисья Дёмина, – сказал он. – Мыльная, дом шесть. Доволен?

– Спасибо, – сказал Матвей и встал.

– Ключарёв, – окликнул его Рябой, когда он уже был у двери. – Ты в это не лезь. Слышишь? Кто-то большой покупает. Большой и тихий. Такие не любят, когда им в саквояж заглядывают.

– Я пока только смотрю, – сказал Матвей.

– Вот и смотри издали.

Вдова Кисельникова на Меняльной продала серому двенадцать лет. Братья Скобы из Залогового ряда – тридцать один на двоих, и ещё радовались, что избавились от лежалого товара. Старик Ферапонт, полуслепой, глухой на одно ухо, вообще не понял, о чём его спрашивают, но в книге у него стояло девять продаж на одно и то же имя – Т. Е. Пустошкин. Молодой Аркадий Звонарёв, который только в прошлом году получил бумагу и ещё боялся каждой проверки, долго мялся, потом признался: восемнадцать лет и два непросроченных месяца по доверенности.

К полудню Матвей обошёл одиннадцать ломбардов и сел на лавку у старого рынка, чтобы сложить цифры.

Двести двенадцать лет. Только в одиннадцати лавках. Только за последнюю неделю.

Если в остальных тридцати было так же – а у него не было причин думать иначе, – выходило больше семисот. Даже если половину пересчитать на месяцы и недели, всё равно выходило под триста полных лет. Предел по уложению для одного покупателя – двадцать лет за десятилетие. Пустошкин превысил его в пятнадцать раз. Но каждый раз у него была новая бумага, свежая, хрустящая, выписанная в Гильдии на его имя.

Матвей вынул из кармана записную книжку и записал: «Бумаги – кто подписывал? Казначей. Проверить».

Потом подумал и приписал ниже: «Зачем столько?»

На этот вопрос ответа не было. Годы покупали, чтобы жить дольше. Это было понятно. Богатый старик, купив двадцать лет, проживёт на двадцать лет больше, если его не убьёт что-то другое. Но триста лет… Человек не может прожить триста лет. Даже самые жадные, даже Агата Ворожейкина, про которую на Сутяжной говорили, что ей сто сорок, а выглядит она на тридцать, – даже она держалась в пределах. С каждым купленным годом осадок копился, и человек, проживший слишком много чужих лет, переставал понимать, где его собственная память, а где чужая. Говорили, что такие сходят с ума. Говорили, что видят по ночам сразу сто снов. Говорили, что под конец начинают звать себя чужими именами.

Триста лет одному человеку было не нужно. Значит, они нужны были не для жизни.

– Дяденька, часик не нужен?

Матвей поднял голову.

Перед ним стояла девчонка лет четырнадцати, худая, как жердь, в мальчишеской куртке с чужого плеча и в платке, повязанном по-деревенски, узлом на затылке. Из-под платка торчала рыжая прядь. Лицо было остренькое, веснушчатое, глаза зелёные и очень быстрые. Она держала в руке что-то, завёрнутое в тряпицу.

– Что? – спросил Матвей.

– Часик, – повторила она и чуть развернула тряпицу. Там лежал крошечный, с напёрсток, оловянный корпус, грубо спаянный, без клейма. – Свежий. Утренний. Недорого. Медный пятак.

Матвей посмотрел на корпус, потом на девчонку.

– Твой?

– А чей же. – Она дерзко вздёрнула подбородок. – Не краденый, не думай.

– Кто вынимал?

Девчонка насторожилась.

– А тебе какое дело?

– Такое, что за отмер без бумаги в Верстани дают три года каторги. И тому, кто вынимал, и тому, кто продаёт. И покупателю – штраф и год в остроге. – Матвей говорил негромко, спокойно, без угрозы, просто как перечислял детали в часах. – А ещё такое, что если вынимает неумеха, то вместе с часом может вынуть и что-нибудь ещё. Например, голос. Или память. Или сердечный толчок. Я видел девочку, у которой после такого отмера левая рука перестала чувствовать холод. Совсем. Она обморозила пальцы и не заметила.

Девчонка отступила на шаг.

– Ты из Гильдии, что ли?

– Был когда-то. Теперь закладчик. С Сутяжной.

– Ну и иди на свою Сутяжную.

Она развернулась, чтобы уйти, но Матвей сказал ей в спину:

– Медный пятак – это втрое меньше настоящей цены часа. Тебя обворовывают.

Она остановилась. Обернулась.

– Сколько настоящая?

– По уложению – три копейки за свежий час, если чистый. Твой – чистый. Я слышу, как он тикает, отсюда.

– Врёшь.

– Зачем мне?

Девчонка подумала. Потом подошла и села на другой конец лавки, держа тряпицу на коленях, как кошку, готовую в любой миг сорваться.

– Ну и кто мне три копейки даст? Никто. На рынке все по пятаку берут. А в лавки нас не пускают, бумаги нет.

– Кто вынимает? – снова спросил Матвей.

Она помялась.

– Хромой Лукьян. Под мостом. У него ланцет старый, ещё от деда. Он аккуратно, не бойся. Берёт по полкопейки за каждый час, что вынет.

– Часто ходишь?

– Когда жрать нечего. – Она сказала это просто, без жалобы. – У меня два брата. Мелкие. Ваньке шесть, Сеньке четыре. Мать в прошлом году померла, отца никогда не было. Я на рынке таскаю, мою, а когда работы нет – вот. – Она показала на тряпицу. – Час – это не много. Ну, проживу я на час меньше. Подумаешь. Зато Сенька сегодня поест.

Матвей помолчал.

– Как тебя звать?

– Уста. Устинья, если по-церковному. Брагина.

– Матвей Ключарёв.

– Да знаю я, – сказала Уста. – Про тебя на рынке говорят. Что ты честный, но сухарь. И что ты из Гильдии вылетел, потому что у тебя кто-то в кресле помер.

Матвей не ответил. Она, видно, сразу поняла, что сказала лишнее, и смутилась, но извиняться не стала.

– Ладно, – буркнула она. – Возьмёшь часик или нет?

– Нет, – сказал Матвей. – Час я у тебя не возьму. Но я дам тебе пятак, если ты ответишь на вопрос.

– Какой?

– На рынке в последние дни никто не скупал часы? Много? Сразу у всех?

Уста посмотрела на него так, будто он прочитал её мысли.

– Скупал, – сказала она. – Серый такой. Как моль.

– Когда?

– Позавчера. И три дня назад. И ещё на прошлой неделе. Ходил по рядам и брал всё. Часы, дни, недели. У всех. Даже у Сопливого Мишки взял, а у того часы такие, что их даже Лукьян не берёт, мутные. А этот взял. И платил не пятак, а по копейке. Все к нему так и побежали.

– Он что-нибудь говорил?

– Ничего. Только один раз, когда у Мишки брал, сказал другому, который с ним был: «Всё в дело пойдёт. Хозяину и мутное годится».

– С ним был ещё кто-то?

– Был. Здоровый такой, в кожаном фартуке, как у мясника. Только он не мясник, у мясников руки красные, а у этого белые, как у барина. И пахло от него… – она сморщила нос, – ну как в аптеке. Спиртом.

Спиртом пахнет от отмерщиков, подумал Матвей. Отмерщики обтирают кожу перед ланцетом.

– Куда они пошли?

– Да не знаю я. На подводу сели и уехали. – Уста подумала. – К Хлебному двору вроде. Подвода в ту сторону покатила. Серая подвода, с крытым верхом. И лошадь серая.

Матвей вынул из кармана пятак и положил на лавку между ними. Подумал и положил рядом ещё один.

– Второй за что? – подозрительно спросила Уста.

– За то, что ты сегодня больше не пойдёшь к Лукьяну.

Она смотрела на монеты, не беря их.

– А завтра?

– Завтра приходи на Сутяжную. Дом с медным маятником на вывеске. Мне нужен человек, который подметает пол, носит воду и бегает с поручениями. Плачу деньгами. Не часами.

– Сколько?

– Двадцать копеек в неделю и обед.

Уста хмыкнула.

– Ты меня не знаешь. Может, я тебя обворую.

– Может, – согласился Матвей. – Тогда я буду знать, что ошибся. Это тоже полезно.

Она смотрела на него ещё несколько мгновений, потом быстрым, кошачьим движением сгребла пятаки и вскочила.

– Подумаю, – сказала она.

– Подумай.

Она пошла прочь, но шагов через десять обернулась.

– Эй! А часик-то? Может, всё-таки купишь? Чего ему пропадать?

– Нет, – сказал Матвей. – Отнеси его Лукьяну и попроси вернуть. Он сможет, если ланцет у него и правда от деда. Деды умели и туда и обратно.

– Вернуть? – она вытаращила глаза. – А деньги?

– А деньги я тебе уже дал.

Она постояла, открыла рот, закрыла, ничего не сказала и убежала, лавируя между торговками с корзинами.

Матвей просидел на лавке ещё немного. Туман над рекой понемногу расходился, и сквозь него проступали очертания Ратуши – высокая башня с острой крышей и белым циферблатом,

на котором чёрные стрелки показывали без пяти час. Матвей вынул свои карманные часы и сверил. Его часы показывали без шести минут. Он поставил их вчера вечером по своему маятнику, а маятник не ошибался никогда.

Значит, Большие часы теперь спешили? Нет. Он прислушался к себе и вспомнил: всё наоборот. Вчера колокол опаздывал. А стрелки теперь показывали больше. Так не бывает. Колокол бьёт по стрелкам, стрелки идут по колокольному ходу, это одна система. Если колокол опаздывает, стрелки должны отставать.

Если только кто-то не подводит их вручную, чтобы никто не заметил отставания.

Он записал и это. Потом встал и пошёл обратно на Сутяжную.

По пути, на углу Мыльной, он свернул к дому шесть. Это был покосившийся двухэтажный барак, где в каждой комнате жило по семье. Анисью Дёмину, которая закладывала месяц у Рябого на свадьбу сестры, он нашёл на заднем дворе у корыта с бельём. Девушка лет восемнадцати, курносая, крепкая, с толстой косой.

– Доверенность? – переспросила она, вытирая руки о передник. – Какую доверенность?

– На выкуп вашего месяца. Поверенный Пустошкин выкупил его за вас у Захара Рябого. С вашим крестом.

– Я ничего не подписывала, – сказала Анисья, и лицо её медленно побелело. – Я грамоте не учена, я крест ставлю, да. Только я его у Рябого ставила, когда закладывала. И всё. Больше нигде. Мне никто ничего не… Подождите. Так что, моего месяца больше нет?

– Он есть. Только теперь он у другого человека.

– Как это – у другого? Это ж мой месяц! Там же… – она осеклась.

– Что там? – мягко спросил Матвей.

– Там мамка была, – прошептала Анисья. – Я когда закладывала, вспомнила мамку. Как она меня в бане парила. Я её лица не помню, она померла, когда мне четыре было. А тогда, в кресле, вспомнила. Ясно-ясно. И думала – выкуплю, и снова вспомню. А теперь что?

Матвей не знал, что ей ответить. Он постоял, потом сказал:

– Я постараюсь найти, где он.

– А вы кто такой?

– Закладчик. С Сутяжной.

– А вам-то что?

Этот вопрос ему сегодня задали уже второй раз. И второй раз у него не было ответа, который можно было бы сказать вслух.

Он вернулся в ломбард к двум часам, снял табличку, отпер дверь. Внутри было тихо и прохладно. Маятник Гаря стучал в углу, и Матвей, проходя мимо, коснулся пальцами стеклянной дверцы, как касаются плеча спящего, чтобы убедиться, что он дышит.

Год Марфы был на месте. Тикал.

А в ячейке сто сорок три лежал пустой корпус, и на его крышке, на гладком серебре, Матвей увидел то, чего утром не было. Тонкую царапину. Будто кто-то пробовал поддеть крышку ногтем и бросил.

Дверь была заперта. Окна целы. Никаких следов.

Матвей медленно оглядел лавку. Всё было как вчера. Всё стояло на своих местах. Только в воздухе едва уловимо, на самом краю обоняния, пахло спиртом.

Он взял лупу и обошёл лавку так, как обходил бы разобранный механизм, отыскивая сорванный зуб.

Замок на двери был английского образца, с тремя сувальдами, купленный два года назад у лучшего слесаря на Каменной. Матвей вынул его из гнезда, разобрал на верстаке и под лупой увидел на латуни свежие, ещё блестящие царапины. Неглубокие, аккуратные. Кто-то открыл замок отмычкой, причём умелой рукой, не торопясь, а потом закрыл за собой так же тщательно.

Вор, который запирает за собой дверь, – это не вор. Вор берёт и бежит. Этот же приходил посмотреть.

Решётка на стойке была цела. Несгораемый шкаф – тоже, Матвей открыл его и пересчитал холодные монеты в жестяной коробке. Все на месте. Книга лежала там, где он её оставил, но закладка из красной тесьмы сдвинулась на две страницы – с вчерашнего листа на позавчерашний. Он открыл её. Позавчерашний лист был списком тех, кто закладывал у него на прошлой неделе, с адресами.

Матвей сел на табурет и долго смотрел на этот лист.

Потом встал, подошёл к ячейкам и стал по одной вынимать корпуса и подносить к уху. Сто сорок два корпуса – не так уж много, если не спешить. Он не спешил. Каждый тикал по-своему: одни звонко, другие глухо, одни часто, будто торопились, другие медленно, вразвалку. Он знал этот хор, как регент знает свой. И когда дошёл до сто семнадцатого, остановился.

Сто семнадцатый не тикал.

Матвей открыл крышку. Внутри было темно. Ни серого света, ни шороха. Просто пустая серебряная скорлупка с номером. Он проверил запись в книге: сто семнадцать – полгода, Ефросинья Лаптева, Кожевенный переулок, заложено в августе, срок до февраля.

Он открыл сто восемнадцатый. Тикал. Сто шестнадцатый – тикал. А сто семнадцатый был пуст, как выеденное яйцо, и никто не мог вынуть из него время, не открыв крышку, а крышку нельзя было открыть, не сорвав печать ломбарда, а печать была цела.

Если только печать не поставили заново. Своей печатью, похожей на его.

Он снова взял лупу. Печать была почти такой же. Почти. Маятник на ней качался не вправо, а влево.

Матвей опустился на табурет. За окном по Сутяжной проехала телега, крикнул разносчик, кто-то засмеялся. Всё это доносилось будто издалека, через вату.

Кто-то вошёл в его лавку ночью. Кто-то знал, какие корпуса у него лежат и где. Кто-то искал год Марфы, не нашёл и вместо него – то ли со зла, то ли для пробы – выпил чужие полгода и запечатал пустую скорлупку поддельной печатью, чтобы хозяин не заметил сразу. Ефросинья Лаптева придёт в феврале выкупать своё время, и он отдаст ей пустоту.

Нет. Не отдаст. Он её найдёт раньше.

В дверь постучали – не звякнули колокольчиком, а именно постучали, тяжело, кулаком, хотя дверь была открыта.

На пороге стоял молодой городовой в мокрой шинели, с красным от холода носом.

– Ключарёв Матвей? Закладчик?

– Я.

– Вас пристав Шершнев требует. В Нижнюю слободу. Срочно. Там покойник. – Городовой помялся и добавил тише, совсем не по уставу: – Только вы, это… Пристав велел сказать: покойник такой, что вы поймёте. Он сыплется.

Глава 3. Пустой

Нижняя слобода начиналась там, где кончалась мостовая.

Сначала булыжник редел, между камнями пробивалась трава, потом камни исчезали совсем, и под ногами чавкала глинистая колея, разбитая колёсами. Дома здесь стояли низкие, вросшие в землю по самые окна, крытые где тёсом, где дёрном, где просто ржавым железом с чужих крыш. Слобода тянулась вдоль Версты до самых болот, и каждую весну река приходила к ней в гости, заливала погреба и уносила заборы. Жили здесь кожевенники, мусорщики, грузчики с пристани и все, кому в городе не нашлось места.

Городовой шёл впереди, поминутно оглядываясь, будто боялся, что Матвей отстанет или сбежит.

– Давно служишь? – спросил Матвей.

– Второй месяц, – признался тот.

– Покойников видел?

– Видел. Утопленника на той неделе. И старуху, что угорела. А такого не видел. – Городовой понизил голос. – Он, понимаете, ещё живой был, когда нашли. Соседка говорит, сидел на пороге и смотрел. И не моргал. Она ему воды поднесла, а он не пьёт. Она его за плечо тронула, а плечо… – он замолчал и мотнул головой. – Сами увидите.

Дом стоял на отшибе, у самой воды. Покосившаяся изба с одним окном, затянутым бычьим пузырём вместо стекла. Перед ней толпились люди: бабы в платках, мужики в рваных армяках, ребятишки. Все молчали, и это молчание было хуже любого крика. Двое городовых не подпускали никого к порогу, но никто и не рвался.

На пороге сидел человек.

Матвей увидел его издали и сразу понял, о чём говорил городовой. Старик сидел, привалившись спиной к косяку, сложив руки на коленях, и смотрел перед собой. Лицо его было серым, как зола в остывшей печи. Не бледным – серым, ровного пыльного цвета, без единого розового пятна. Глаза открыты. Губы приоткрыты. Тени у него не было. Солнце, пробившееся сквозь утренний туман, светило ему прямо в спину, и тень от косяка лежала на земле, а тени старика рядом с ней не было вовсе.

– Пустой, – сказал Матвей вполголоса.

– Вы так это называете? – раздался голос рядом.

Он обернулся. Возле угла избы стоял человек лет пятидесяти в потёртой шинели с поднятым воротником, в фуражке с околышем Сыскной управы. Лицо длинное, носатое, с глубокими складками от крыльев носа к углам рта, такими глубокими, что казалось, будто он постоянно чем-то брезгует. Глаза маленькие, тёмные, усталые. В углу рта торчала незажжённая папироса.

– Пристав Шершнев, – представился он, не протягивая руки. – Леонтий Карпович. Это я вас вызвал. Вы – Ключарёв. Бывший отмерщик Гильдии, ныне закладчик, Сутяжная, дом с маятником. Изгнан девять лет назад за смерть клиентки во время отмера. Дело закрыто за недоказанностью. Я ничего не перепутал?

– Нет, – сказал Матвей.

– Хорошо. Не люблю путать. – Шершнев вынул папиросу изо рта, посмотрел на неё и сунул обратно. – Мне нужен знаток. Гильдейских звать не хочу. Гильдейские придут, напишут три страницы, что всё по закону, и уйдут. А мне не надо по закону. Мне надо понять, что здесь произошло. Вы видели таких раньше?

– Видел. Дважды.

– Где?

– Один раз в Гильдии, на обучении. Нам показывали старика, который продал всё, что у него было, и пришёл на смерть по собственной воле. Его держали под стеклом три дня, пока он не рассыпался. Чтобы мы знали, как это выглядит. – Матвей помолчал. – Второй раз – позже.

– Когда позже?

– Девять лет назад.

Шершнев посмотрел на него долгим взглядом. Ничего не сказал.

– Можно подойти? – спросил Матвей.

– Затем и звал.

Матвей подошёл к порогу и присел на корточки перед стариком. Вблизи было видно, что кожа на лице у того не просто серая, а будто припорошённая мелкой пылью, как старая мебель в нежилом доме. Пыль лежала в морщинах, на ресницах, на бровях. Губы потрескались. Руки на коленях – костлявые, с узловатыми пальцами, с чёрной землёй под ногтями – были неподвижны, но пальцы чуть заметно, с невообразимой медлительностью, разжимались. Как стрелка часов, за которой не уследишь глазом.

– Как его зовут? – спросил Матвей, не оборачиваясь.

– Прохор Усачёв, – ответил Шершнев. – Шестьдесят семь лет по метрике. Бывший грузчик с пристани, последние десять лет – сторож на дровяном складе. Вдовец. Детей нет. Жил один.

– Он ещё здесь, – сказал Матвей.

– В каком смысле?

– В прямом. Пустой не умирает сразу. Время из него вынули, но то, что держало это время, ещё не ушло. Он слышит. Может быть, даже понимает. Только ответить не может – нечем.

Шершнев подошёл и встал рядом.

– Сколько у него ещё?

– Час. Может, меньше. Зависит от того, сколько он прожил своего, а сколько ему вынули.

– Вынули тридцать лет, – сказал Шершнев.

Матвей поднял голову.

– Тридцать?

Шершнев вытащил из-за пазухи сложенную бумагу и протянул. Матвей развернул. Купчая на время жизни. Бланк Гильдии Отмера, печать, номер реестра. Продавец – Прохор Евсеевич Усачёв, крест. Покупатель – Т. Е. Пустошкин. Предмет – тридцать лет времени жизни, взятые с конца. Цена – сто восемьдесят рублей серебром. Дата – позавчерашняя. Подпись нотариуса Гильдии, неразборчивая. Печать отмерщика – маятник.

Маятник качался влево.

Матвей долго смотрел на эту печать.

– Где вы это нашли? – спросил он.

– У него за пазухой. Аккуратно сложенная, в холстинку завёрнутая. Как будто он её берёг. – Шершнев забрал бумагу. – Уложение запрещает продавать больше десяти лет за жизнь. Здесь – тридцать. Печать Гильдии. Подпись нотариуса Гильдии. Так скажите мне, знаток, как это вышло?

– Печать поддельная.

– Откуда знаете?

– Маятник на гильдейской печати отмерщика качается вправо. Всегда. Так завёл ещё первый мастер Гильдии, двести лет назад, это есть в уставе. Чтобы маятник шёл по солнцу. А здесь – влево.

Шершнев снова развернул бумагу, посмотрел на печать, потом на Матвея.

– Внимательный вы.

– Я сегодня утром видел такую же у себя в лавке, – сказал Матвей. – На корпусе, из которого ночью кто-то выпил полгода чужого времени.

Шершнев вынул папиросу изо рта.

– Вот как, – сказал он медленно. – Об этом мы поговорим отдельно. А сейчас скажите: если печать поддельная, а подпись нотариуса – тоже, то откуда у покойника бланк Гильдии? Бланки номерные. Учтённые. Я проверял. Номер реестра настоящий.

– Тогда у кого-то в Гильдии есть доступ к бланкам.

– Это я и без вас понимаю.

Матвей снова посмотрел на старика. Пальцы у того разжались ещё на волосок.

– Можно я попробую с ним поговорить? – спросил Матвей.

– Вы же сказали, что ему нечем отвечать.

– Ему нечем. Но кое-что можно одолжить.

Шершнев нахмурился.

– Поясните.

– У меня с собой ланцет. И пустой корпус. – Матвей похлопал по сумке, которую всегда носил с собой, как лекарь носит свой саквояж. – Я могу дать ему час. Свой. Это не спасёт его – час слишком мало, а то, что из него вынули, слишком много. Но на этот час он, может быть, станет способен говорить.

– Свой час, – повторил Шершнев. – Вы отдадите час своей жизни покойнику, чтобы задать ему вопрос.

– Он пока не покойник.

– Это противозаконно?

– Дарение времени без оформления в Гильдии – да. Штраф и порицание.

Шершнев долго смотрел на него. Потом пожал плечами.

– Я ничего не видел, – сказал он. – Я отвернулся. Смотрю на реку. Красивая у нас река.

Он действительно отвернулся и стал смотреть на реку. Городовые, стоявшие у порога, переглянулись и тоже отвернулись. Толпа за их спинами не отвернулась, но толпа в Нижней слободе никогда ничего не видела, если её не заставляли.

Матвей открыл сумку. Достал ланцет, моток серебряной трубки, пустой корпус. Обтёр спиртом своё левое запястье. Ввёл иглу. Повернул головку на четверть оборота – ровно на час, не больше. Холод пополз по руке к плечу. Серое свечение потекло по трубке в корпус. Матвей смотрел на него и ждал, что что-нибудь вспомнит, как вспоминали все. И вспомнил. Зимний вечер, ему лет девять. Вера, младшая сестра, сидит у печки и вяжет варежку, и петли у неё всё время соскальзывают, и она сердится, а он смеётся. А потом она тоже смеётся.

Он повернул головку обратно. Щелчок.

Переложил трубку. Теперь другой конец он ввёл под кожу на запястье Прохора. Кожа была сухая и тонкая, как бумага, и игла вошла в неё без всякого сопротивления. Он повернул головку корпуса.

Час потёк в старика.

Сначала ничего не происходило. Потом серая пыль на ресницах Прохора дрогнула. Губы шевельнулись. Глаза, неподвижно смотревшие в пустоту, медленно, с огромным трудом сместились и остановились на Матвее.

– Прохор Евсеевич, – тихо сказал Матвей. – Вы меня слышите?

– Слы… шу, – выдохнул старик. Голос был не голос, а шелест, как сухие листья под ногой.

– Кто купил у вас время?

– Се… рый.

– Пустошкин?

Старик моргнул. Очень медленно.

– Сколько вы продали?

– Не… про… давал.

Матвей наклонился ближе.

– Вы не продавали тридцать лет?

– Де… сять, – прошелестел Прохор. – Хо… тел… десять. На… похо… роны. Се… бе. Чтоб… по-людски. Он ска… зал… десять. Я… крест… А по… том…

Он замолчал. Губы шевелились, но звука не было. Матвей ждал. Шершнев, забыв, что смотрит на реку, обернулся и подошёл ближе.

– А потом? – спросил Матвей.

– По… том… при… шёл… дру… гой. Ночью. В… фар… туке. Взял… ещё. Я… не да… вал. Он… сам. – Пальцы старика вдруг дёрнулись и вцепились Матвею в рукав, с такой силой, какой нельзя было ожидать от этих сухих костей. – Он… ска… зал… часы… голод… ные. Ска… зал… им… надо… больше. Ска… зал… я… не… пер… вый… и… не… по… след… ний.

– Какие часы? – быстро спросил Шершнев. – Какие часы голодные?

Прохор перевёл глаза на него. Потом снова на Матвея.

– Те… что… на… башне, – прошелестел он. – Он… ска… зал… те… уми… рают. А… но… вые… бу… дут… сы… тые.

– Новые? Где новые?

Но старик уже не слушал. Глаза его снова остановились, устремились в пустоту за плечом Матвея. Пальцы на рукаве ослабли.

– Яблоки, – вдруг сказал он почти ясно. – У мамки… в саду… бе… лый… на… лив.

И рассыпался.

Это произошло не сразу, а как будто волной. Сначала пыль сорвалась с его лица, серым облачком, словно кто-то дунул на неё. Потом лицо под пылью тоже стало пылью. Потом плечи, руки, колени. Старик оседал, как оседает песчаный замок под набегающей волной, только без звука, совсем без звука. Через несколько мгновений на пороге осталась лишь кучка серого, мелкого, как мука, праха, сложенная одежда да стоптанные сапоги. И серебряная игла ланцета, торчащая из пустоты.

Матвей вынул иглу. Свернул трубку. Убрал всё в сумку. Руки у него не дрожали. Он долго учился, чтобы они не дрожали.

За спиной кто-то из баб завыл – тонко, по-деревенски, с причётом. Её подхватила вторая. Толпа зашевелилась.

– Белый налив, – сказал Матвей вслух, ни к кому не обращаясь.

– Что? – Шершнев смотрел на кучку праха.

– Он вспомнил яблоки. Белый налив. Вчера женщина у меня в лавке, когда закладывала год, вспомнила то же самое. Белый налив в бабушкином саду.

– Совпадение, – сказал Шершнев. – В Верстани в каждом втором саду белый налив.

– Может быть, – сказал Матвей.

Но он так не думал. Он подумал о часе, который только что отдал. О зимнем вечере, о Вере у печки. И подумал, что, когда отдаёшь время, оно уносит с собой не случайное воспоминание, а самое тёплое. Самое дорогое. То, за чем потом хочется прийти.

И если у старого грузчика, у которого вынули сорок лет, последним, самым донным, самым неистребимым воспоминанием оказались яблоки в мамкином саду, – то у Марфы, которая отдала только год, всплыло то же самое. Значит, дело не в яблоках. Дело в том, что они оба любили одно и то же. Как все в этом городе. Лето. Мать. Сад.

Пыль на пороге шевельнулась от ветра.

– Надо собрать, – сказал Матвей. – Похоронить. Он хотел по-людски.

– Похороним, – сказал Шершнев. – За казённый счёт. – Он помолчал. – Вы отдали ему час.

– Да.

– Сколько у вас самого осталось, если не секрет?

– Секрет, – сказал Матвей.

Шершнев хмыкнул. Потом наконец зажёг свою папиросу, затянулся и выпустил дым в сторону реки.

– Он сказал «часы на башне», – произнёс пристав. – Те, что на Ратуше?

– Других башенных часов в Верстани нет.

– И что значит «голодные»?

– Не знаю, – сказал Матвей.

Это была правда. Почти. Он вспомнил колокол, который опаздывал, и стрелки, которые кто-то подводил вперёд.

– А «новые»? – спросил Шершнев.

– Тоже не знаю.

– Вот и я не знаю, – сказал Шершнев. Он стряхнул пепел. – Слушайте, Ключарёв. Я двадцать шесть лет служу в Сыскной управе. Я видел много разного. Я видел, как мужья продают годы жён, пока те спят. Видел, как дети вынимают время у стариков-родителей и пропивают его в кабаке. Видел, как богатые покупают годы бедных и живут по полтора века, а бедные мрут в сорок. Всё это законно, по уложению, с печатями. Я научился не лезть. Но вот этого, – он кивнул на кучку пепла, – я ещё не видел. И это мне не нравится.

– Мне тоже.

– Вот и хорошо. Значит, будем не любить вместе. – Шершнев бросил окурок в лужу. – Завтра утром – в управу. Расскажете про ваши полгода и про печать. Под протокол. И про серого вашего – всё, что знаете.

– Он не мой.

– Теперь – ваш, – сказал Шершнев. – Вы с ним разговаривали. Вы видели его вблизи. Вы знаете его в лицо. А я – нет. Так что теперь он ваш, Ключарёв. Привыкайте.

Он повернулся и пошёл к городовым отдавать распоряжения. Матвей остался стоять у порога.

Над рекой, далеко, над крышами города, ударил колокол Ратуши. Раз, другой. Одиннадцать. Матвей вынул часы. Колокол опоздал на четыре вдоха.

Вчера на три. Сегодня на четыре.

Он закрыл крышку часов, посмотрел на кучку пепла, которая ещё полчаса назад была человеком по имени Прохор Усачёв, и подумал, что, кажется, начинает понимать, на что кому-то понадобилось триста лет.

Не для того, чтобы жить. Для того, чтобы кормить.

Обратно он пошёл не через мост, а вдоль реки, к Кожевенному переулку.

Переулок вонял дубильными чанами так, что слезились глаза. Дома здесь были чуть крепче, чем в слободе, но ненамного: двухэтажные, с наружными лестницами, с бельём на верёвках поперёк улицы. Ефросинья Лаптева жила на втором этаже углового дома, над лавкой шорника. Матвей помнил её: высокая, громкоголосая, лет сорока, жена кожевенника. Она закладывала полгода в августе, чтобы оплатить мужу долг за разбитый чан, и смеялась в кресле, вспоминая, как в девках прыгала через костёр.

Дверь открыл мальчишка лет десяти, сын.

– Мамка спит, – сказал он. – Третий день спит.

– Можно мне на неё посмотреть? Я закладчик. Она у меня полгода оставила.

Мальчишка подумал и посторонился.

Ефросинья лежала на широкой кровати под лоскутным одеялом, на спине, сложив руки на груди. Она не спала. Глаза её были открыты и смотрели в потолок, где на балке висел пучок

сушёного зверобоя. Лицо было не серым, нет, но каким-то выцветшим, будто старая фотографическая карточка, долго пролежавшая на солнце. Губы шевелились.

– Ефросинья Петровна, – позвал Матвей.

Она повернула голову. Посмотрела на него без всякого узнавания.

– Вы кто?

– Ключарёв. С Сутяжной. Вы у меня закладывали.

– Закладывала? – Она нахмурилась, будто силилась вспомнить слово. – Я… нет. Я ничего не закладывала. Я не помню.

– Как вас зовут?

Она долго молчала.

– Фрося, – сказала она наконец неуверенно. – Кажется. Фрося.

Мальчишка за спиной у Матвея шмыгнул носом.

– Она с понедельника так, – сказал он. – Проснулась и не знает, где кухня. Батьку не узнала. Меня узнала, а имя не помнит. Батька лекаря звал, лекарь сказал – удар. А какой удар? У неё рука не висит, она ходит, если поднять. Только не помнит ничего.

С понедельника. В ночь на понедельник кто-то вошёл в лавку Матвея и выпил её полгода из корпуса.

Матвей знал, что так не бывает. Время, отданное в заклад, отрезано от человека, как прядь волос. Что с ним ни делай, хозяин не почувствует. Так учили в Гильдии, так написано в уставе, так было двести лет.

А Ефросинья Лаптева лежала на кровати и не помнила своего имени.

– Её надо держать в тепле, – сказал он мальчишке, потому что больше ему сказать было нечего. – Кормить с ложки, если сама не будет. И разговаривать с ней. Всё время разговаривать. Рассказывай ей, как её зовут, где она живёт, кто ты. Понял?

– Понял, – прошептал мальчишка.

– Как тебя звать?

– Петька.

– Я вернусь, Петька. Слышишь? Я вернусь, когда найду её полгода.

Он вышел на наружную лестницу и постоял, глотая вонючий, едкий воздух переулка. Внизу кожевенники вытаскивали из чана мокрые шкуры, и с них капало бурое.

Если пустой корпус в его лавке связан с этой женщиной, связан до сих пор, то всё, чему его учили, – ложь. Отданное время не отрезано. Оно остаётся привязанным к хозяину невидимой нитью, и если его не просто перекладывают из корпуса в корпус, а выпивают, сжигают, тратят на что-то, – хозяин это чувствует.

И тогда у Марфы Клёновой, чей год лежит у него в маятнике, тоже есть такая нить.

И у Анисьи Дёминой. И у всех, чьи годы унёс в своём войлочном саквояже серый человек.

Глава 4. Гильдия

В Сыскной управе Матвей просидел два часа, и за эти два часа Шершнев выжал из него всё: Пустошкина, монеты, восемнадцать ломбардов, поддельную печать, пустой корпус сто семнадцать, Ефросинью Лаптеву, не помнящую своего имени. Писарь, вихрастый юноша с чернильным пятном на щеке, исписал девять листов и под конец тряс затёкшей рукой.

Про год Марфы в маятнике Матвей не сказал. Сам не знал почему. Может быть, потому что Шершнев, слушая про корпус сто сорок три, вдруг поднял глаза и спросил: «А где сейчас этот год?» – слишком быстро, слишком небрежно. Может быть, просто потому, что он привык: о чужом времени не говорят вслух.

– Он у меня, – ответил Матвей. – В надёжном месте.

– Насколько надёжном?

– Достаточно.

Шершнев посмотрел на него, хмыкнул и записывать не велел.

Когда протокол был подписан, пристав проводил его до крыльца.

– В Гильдию пойдёте? – спросил он.

– Пойду.

– Зачем?

– Спросить про бланки.

– Я уже спрашивал, – сказал Шершнев. – Вчера вечером. Мне ответили через дверь, что Гильдия Отмера – независимое сословное учреждение и даёт сведения Сыскной управе только по письменному запросу, заверенному городским головой. Запрос я отправил. Голова его подпишет через неделю, если не забудет. Через две недели они ответят. Через месяц мы узнаем, что бланк потерян при переезде архива в позапрошлом году.

– Мне ответят быстрее, – сказал Матвей.

– С чего бы? Вас оттуда выгнали.

– Поэтому и ответят. Им будет интересно, зачем я пришёл.

Шершнев пожевал папиросу.

– Если что-нибудь узнаете…

– Расскажу.

– Не мне. – Пристав посмотрел через площадь, где у фонарного столба стоял человек в котелке и читал газету. Газету он читал уже второй час, Матвей видел его из окна управы. – Записку оставьте в трактире «Медведь» на Каменной, буфетчику. Скажете, для Карпыча. Он передаст.

– Вы думаете, за управой смотрят?

– Я думаю, Ключарёв, что человек, у которого есть номерные бланки Гильдии, может иметь и уши в управе. А у меня в управе одиннадцать писарей, и я за каждого не поручусь. – Шершнев сплюнул. – Ступайте.

Гильдия Отмера стояла на Ратушной площади, напротив самой Ратуши, и это было не случайно. Когда-то, двести лет назад, когда Гильдию только учредили, её дом поставили так, чтобы окна главной залы смотрели прямо на Большие часы. «Мы служим времени города», – было высечено над входом. Буквы потемнели, но читались.

Здание было серое, тяжёлое, в три этажа, с колоннами, похожими на гирьки часов, и с огромным медным маятником над парадным входом. Маятник не качался. Он висел неподвижно с тех пор, как Матвей себя помнил, и ученики Гильдии говорили, что он качнётся в тот день, когда Гильдия перестанет быть нужна городу.

Девять лет Матвей не поднимался по этим ступеням. Он поднялся.

Привратник в синей ливрее с медными пуговицами узнал его сразу. Узнал и растерялся.

– Господин Ключарёв…

– Здравствуй, Фома. Мне к казначею.

– К казначею… – Фома беспомощно оглянулся на дверь. – У вас назначено?

– Нет.

– Я… я спрошу.

Он ушёл и не возвращался долго. Матвей стоял в прихожей и разглядывал её, как разглядывал бы знакомые часы после долгой разлуки. Ничего не изменилось. Те же мраморные плиты, чёрные и белые, как клавиши. Те же портреты основателей на стенах: суровые бородатые мужи в старинных кафтанах, каждый держит в руке песочные часы или ланцет. Та же лестница с медными перилами, уходящая вверх, к главной зале. Тот же запах – воска, спирта, старой бумаги и чего-то ещё, едва уловимого, сладковатого. Запах времени. Его чувствовал всякий, кто долго работал с ланцетом. Остальные не замечали.

Только одно было новым: в простенке между окнами висел портрет, которого раньше не было. Мужчина лет тридцати пяти, светловолосый, гладко выбритый, в тёмном сюртуке с орденом на шее. Красивое, тонкое лицо. Улыбка, в которой было больше учтивости, чем тепла. Подпись внизу: «Ипполит Саввич Бельский, глава Гильдии Отмера. Лета 3 от избрания».

Матвей знал это лицо. Девять лет назад Бельский был вторым казначеем Гильдии. И девять лет назад он выглядел точно так же. И двадцать лет назад, когда Матвей пришёл в Гильдию учеником, – тоже. Говорили, что Бельскому за сто. Говорили, что он купил больше лет, чем любой человек в городе, и держит их в пределах уложения только потому, что сам уложение и толкует.

– Господин Ключарёв.

Матвей обернулся. По лестнице спускался тот самый человек с портрета. Спускался неторопливо, легко, придерживаясь кончиками пальцев за перила, и улыбался той самой улыбкой.

– Ипполит Саввич.

– Какой неожиданный гость, – сказал Бельский, подходя. Он протянул руку, и Матвей пожал её. Рука была сухая и прохладная. Не холодная, как монеты Пустошкина, – просто прохладная, как у человека, который долго сидел в нетопленой комнате. – Фома сказал, что вы спрашиваете казначея. Казначей сейчас занят. А я, напротив, свободен. Поднимемся? Или вам удобнее здесь?

– Мне всё равно.

– Тогда поднимемся. Здесь сквозит.

Кабинет главы Гильдии занимал угол третьего этажа. Два окна смотрели на площадь, на Ратушу, и белый циферблат Больших часов заполнял их почти целиком, так что казалось, будто часы заглядывают в комнату. Мебель была тёмная, тяжёлая, на стенах – полки с книгами и стеклянные шкафы, где на бархатных подушечках лежали старинные ланцеты, мерила, корпуса. Музей ремесла. Над камином висели часы – маленькие, изящные, фарфоровые, с пастушками. Они шли бесшумно.

– Садитесь, – Бельский указал на кресло. – Чаю? Коньяку?

– Нет, спасибо.

– Как хотите. – Бельский сел напротив, закинул ногу на ногу. – Девять лет. Вы почти не изменились, Матвей Андреевич. Немного поседели на висках. Это вам идёт.

– Вы не изменились совсем.

– Это моя слабость, – улыбнулся Бельский. – Итак. Чем обязан?

Матвей вынул из кармана записную книжку, раскрыл, положил на колено.

– Позавчера в Нижней слободе умер человек. Прохор Усачёв, бывший грузчик. Пустой. У него нашли купчую на тридцать лет. Бланк Гильдии, номер реестра, подпись нотариуса, печать отмерщика.

– Я слышал об этом, – кивнул Бельский. – Пристав Шершнев был очень настойчив. Ужасная история.

– Номер бланка – тридцать четыре тысячи двести восемнадцать. Я хотел бы знать, кому он выдан.

Бельский помолчал, разглядывая его с лёгким любопытством.

– Вы больше не служите в Гильдии, Матвей Андреевич.

– Я закладчик с бумагой Гильдии. Уложение даёт мне право запрашивать сведения о бланках, если подлинность купчей вызывает сомнения. Статья сорок вторая.

– Статья сорок вторая касается купчих, по которым закладчик сам ведёт сделку.

– Покупатель по этой купчей три дня назад купил у меня семнадцать лет. С бумагой Гильдии на право покупки. Если его купчая с Усачёвым поддельная, у меня есть основания сомневаться в его бумаге. А значит, и в моей сделке.

Бельский рассмеялся – тихо, искренне.

– Вы всегда были въедливым. Нестор Ильич говорил про вас: «Этот мальчишка найдёт песчинку в пустыне, если решит, что она там лишняя». – Он встал, подошёл к столу, потянул шнурок звонка. – Хорошо. Давайте посмотрим.

Через минуту вошёл секретарь – бледный молодой человек в очках. Бельский что-то сказал ему вполголоса, тот кивнул и исчез. Ещё через несколько минут вернулся с толстой книгой в зелёном переплёте.

– Реестр бланков купчих, – сказал Бельский, кладя книгу на стол и раскрывая её. – Тридцать четыре тысячи двести восемнадцать… Вот. Прошу.

Матвей встал и подошёл. Бельский держал палец на строке. Строка гласила: «Бланк № 34218. Испорчен при заполнении. Списан по акту № 112. Уничтожен». Дата – полтора месяца назад. Подпись казначея.

– Как видите, – мягко сказал Бельский, – бланк был списан. Кто-то, по-видимому, извлёк его из мусора и использовал. Это преступление, разумеется, и мы будем рады помочь Сыскной управе его раскрыть. Но к Гильдии, как вы понимаете, оно отношения не имеет.

– А бумага Пустошкина на право покупки?

– Её мы тоже проверим, если вы её принесёте.

– Она осталась у него. Но номер я помню. Девять тысяч сорок.

Бельский перелистнул в конец книги, где были другие записи.

– Девять тысяч сорок… Выдана Т. Е. Пустошкину, поверенному. На покупку в пределах уложения, двадцать лет за десятилетие. Подлинная. – Он поднял глаза. – Что вас смущает?

– За неделю он купил в одиннадцати ломбардах двести двенадцать лет. Это я посчитал только сам. А их в городе сорок два.

– Двести двенадцать лет, – медленно повторил Бельский. – Это серьёзное обвинение, Матвей Андреевич.

– Это не обвинение. Это арифметика.

– Вы уверены, что он покупал для себя? Поверенный, как правило, покупает по доверенности. Для многих лиц. В пределах предела каждого из них. Это законно.

– Тогда в Гильдии должны быть доверенности.

– Доверенности хранятся у поверенного. Гильдия их не регистрирует, если покупка не превышает предела на одно лицо.

Это была правда. Матвей знал устав. Знал его наизусть, все триста двенадцать статей. И знал, что в нём была эта дыра: поверенный мог покупать для сотни людей, и никто не проверял, существуют ли эти сто человек на самом деле.

– Ипполит Саввич, – сказал он. – Вы знаете, кто такой Пустошкин?

– Понятия не имею, – легко ответил Бельский. – В городе тысячи поверенных. Я не могу знать каждого.

– А бумагу ему подписывали вы? Девять тысяч сорок.

Бельский не ответил сразу. Посмотрел на книгу. Подпись внизу строки была размашистая, с завитком.

– Казначей, – сказал он. – Лыков. Кондратий Лыков. Он подписывает все бумаги на право покупки. Я – только те, что сверх предела, по особому решению совета. А их не было уже лет десять.

Он закрыл книгу.

– Я поговорю с Лыковым, – сказал он. – Обещаю вам. Если поверенный Пустошкин злоупотребляет своим правом, бумагу у него отзовут. И я лично напишу приставу Шершневу. – Он улыбнулся. – Вы удовлетворены?

Матвей посмотрел в окно. Большие часы на Ратуше показывали без двадцати три. Его карманные – без двадцати двух.

– Почему Большие часы отстают? – спросил он.

Бельский проследил его взгляд.

– Отстают?

– На четыре вдоха вчера. Сегодня больше. А стрелки кто-то подводит, чтобы отставания не было видно.

На лице Бельского ничего не изменилось. Ничего. Только фарфоровые часы над камином, которые до сих пор шли бесшумно, вдруг щёлкнули. Один раз. Громко. И пошли дальше.

– Большие часы, Матвей Андреевич, – сказал Бельский, – находятся в ведении городской управы и Сторожа часов. Гильдия Отмера к ним отношения не имеет уже шестьдесят лет. Если вы считаете, что они отстают, вам следует обратиться к городскому голове.

– Шестьдесят лет назад отменили десятину, – сказал Матвей. – Я помню это из истории ремесла. До того Гильдия собирала с города десятую часть отданного времени и отдавала её часам.

– Вы хорошо учились, – улыбнулся Бельский. – Да. Это был варварский обычай, пережиток тёмных веков. Платить налог временем жизни на содержание часового механизма. Нынешний устав это исправил. Время принадлежит человеку. Человек волен им распоряжаться. Это просвещённый подход.

– А часы?

– Часы – это часы, – сказал Бельский. – Колёса, пружины, гири. Их нужно смазывать и заводить. Для этого есть Сторож. Говорят, он очень старый, но своё дело знает.

Он встал, давая понять, что разговор окончен. Матвей тоже встал.

– Было приятно вас увидеть, Матвей Андреевич, – сказал Бельский у двери кабинета. – Правда. Я всегда сожалел о том, как всё закончилось девять лет назад. Вы были лучшим отмерщиком своего выпуска. Может быть, лучшим из всех, кого я видел. Нестор Ильич так считал. – Он помолчал. – Если когда-нибудь захотите вернуться – дверь не заперта. Я серьёзно.

– Спасибо, – сказал Матвей. – Нет.

– Подумайте. – Бельский протянул руку. – И знаете что… Не тратьте своё время на чужие дела. У вас его не так уж много, если я правильно помню.

Матвей пожал прохладную руку и вышел.

На лестнице он остановился у окна второго этажа. Оттуда был виден внутренний двор Гильдии, куда выходили задние двери и где стояли конюшни. Во дворе стояла подвода. Крытая серым брезентом. Запряжённая серой лошадью. Двое работников в кожаных фартуках снимали с неё длинный плоский ящик и несли к двери подвала.

Матвей смотрел, пока дверь подвала не закрылась за ними. Потом пошёл вниз.

У выхода его ждал Фома.

– Господин Ключарёв, – тихо сказал привратник, оглянувшись. – Вы извините, что я… Девять лет назад. Я ведь тогда был в зале. Когда девушка… когда Лиза Ветлугина…

– Я помню, Фома.

– Я хотел сказать. Я тогда видел, как ваш ланцет брали со стола. Ночью, накануне. Ваш ланцет. Кто-то из старших. Я не разглядел кто, было темно. А наутро вы им работали, и у неё пошли пузыри. Я не сказал на суде. Побоялся. – Фома опустил глаза. – Простите меня.

Матвей долго молчал.

Девять лет назад девятнадцатилетняя Лиза Ветлугина, дочь писаря из Казённой палаты, пришла в Гильдию продать два года. Ей нужно было приданое. Её отмер достался Матвею – обычное дело, лучший ученик выпуска, ему давали сложных. Ничего сложного в ней не было: здоровая, сильная девушка, мерило показывало почти пятьдесят лет. Он ввёл иглу, повернул головку, и время пошло ровной струйкой, как всегда. А на втором году в трубке появились пузыри. Мелкие, тёмные, как в кипящей смоле. Он повернул головку обратно сразу же, в ту же секунду. Не помогло. Пружина ланцета не встала. Она продолжала качать, хотя он держал головку обеими руками. И пузырей становилось больше, и Лиза перестала улыбаться и начала хрипеть, а потом посерела и стала пустой у него на глазах, за одну минуту, а он ничего, совсем ничего не мог сделать.

На суде сказали – сорвался спусковой зуб, недогляд отмерщика. Ланцет разобрали, зуб действительно был сорван. Доказать умысел не смогли. Доказать небрежность – тоже, потому что ланцет Матвей проверял накануне, и при свидетелях. Дело закрыли. А Матвея исключили из Гильдии, «во избежание дальнейших толков».

Он всегда думал, что виноват сам. Что недоглядел.

– Кто из старших, Фома? – спросил он.

– Не знаю. Правда не знаю. Высокий. В сюртуке. И… – Фома замялся. – И от него пахло духами. Сладкими такими. Как от дамы.

– Спасибо, – сказал Матвей.

Он вышел на площадь. Ветер с реки рвал полы пальто, гнал по брусчатке опавшие листья. Большие часы на башне показывали без десяти три. Человек в котелке у фонарного столба наконец сложил газету и неторопливо двинулся следом за Матвеем, держась шагах в пятидесяти.

Матвей не стал оборачиваться. Он шёл и думал о том, что Бельский соврал ему трижды. Первый раз – когда сказал, что не знает Пустошкина. Матвей до того ни словом не обмолвился, кем служит покупатель, сказал только «покупатель по этой купчей». А Бельский сразу ответил: «Поверенный, как правило, покупает по доверенности». Он знал, кто такой Пустошкин, ещё до того, как открыл книгу. Второй раз – когда сказал, что Гильдия не имеет отношения к часам: фарфоровые пастушки над камином щёлкнули, как щёлкают часы, когда в комнате кто-то врёт так сильно, что воздух дрожит, – Гарь когда-то говорил, что хорошие часы слышат ложь, но Матвей до сегодняшнего дня считал это стариковской байкой. Третий раз – когда сказал «если я правильно помню» про его оставшиеся годы.

Бельский не мог помнить. Матвей никогда не говорил Гильдии, сколько у него осталось. Сам узнал только два года назад, тайком, по своему мерилу. Девятнадцать. После тех одиннадцати, что он продал ради Веры.

Значит, Бельский смотрел. Когда-то, без его ведома, приложил к его запястью мерило. Или кто-то сделал это для него.

И ещё одно. Бельский сказал «Матвей Андреевич» семь раз за разговор. Учтиво, тепло. А когда пожимал руку на прощание, на одну секунду, на долю секунды, его пальцы коснулись запястья Матвея. Там, где пульс. И от этих пальцев пахло духами.

Сладкими. Как от дамы.

Он свернул с площади на Каменную, прошёл мимо меняльных лавок, мимо аптеки с синими шарами в окне, мимо часовой мастерской, где за стеклом старый мастер Гарь, его учи-

тель, склонился над верстаком с лупой в глазу и не поднял головы. Матвей замедлил шаг, хотел было зайти – и не зашёл. Не сейчас. Не с хвостом за спиной.

Трактир «Медведь» стоял на углу Каменной и Дегтярного переулка, низкий, закопчённый, с чучелом медвежьей головы над дверью. Внутри было дымно и шумно: извозчики, приказчики, мелкие торговцы сидели за длинными столами, стучали кружками. Матвей прошёл к стойке. Буфетчик, лысый, с бакенбардами, как у старого генерала, вытирал стакан полотенцем.

– Чаю, – сказал Матвей. – И бумаги с карандашом.

Буфетчик поставил перед ним стакан в подстаканнике, положил листок и огрызок карандаша. Матвей написал, мелко, разборчиво: «Бланк 34218 списан полтора месяца назад, акт 112, подпись казначея Лыкова. Бумага на покупку 9040 подлинная, Лыков. Во дворе Гильдии серая подвода, ящики в подвал. Бельский знает Пустошкина. За мной хвост, котелок, газета». Подумал и приписал: «Девять лет назад мой ланцет кто-то брал ночью. Фома, привратник, видел».

Последнюю строку он зачеркнул. Потом подумал ещё и написал её снова, ниже. Пусть знает. Если с ним что-нибудь случится, пусть хоть кто-то знает.

Он сложил листок вчетверо и подвинул буфетчику вместе с медяком за чай.

– Для Карпыча.

Буфетчик, не меняясь в лице, накрыл листок полотенцем и убрал под стойку.

– Чёрный ход во двор, – сказал он, не глядя на Матвея. – Через кухню. Со двора калитка на Дегтярный. Ваш в котелке у окна сел, пиво заказал. Пока ему нальют, пока он пену сдует…

– Спасибо.

Матвей допил чай одним глотком, обжигаясь, и прошёл в кухню. Повариха, толстая баба в засаленном переднике, мельком глянула на него и отвернулась к котлу. Двор был тесный, заставленный бочками. Калитка скрипнула. Дегтярный переулок, кривой и узкий, вывел его к реке, к рыбным рядам, где пахло тиной, и там, среди лодок и сетей, он окончательно убедился, что за ним никто не идёт.

Тогда он остановился у парапета и долго смотрел на воду.

Девять лет он считал себя убийцей. Не по закону – закон его оправдал. По совести. Каждую ночь, пока не научился не думать о ней, он видел Лизу Ветлугину в кресле, видел, как серая пыль проступает на её щеках, слышал её хрип. Каждую ночь он заново проверял свой ланцет, сорванный спусковой зуб, свои руки. И каждую ночь приходил к одному: недоглядел.

А теперь привратник Фома сказал ему, что ланцет брали ночью. Высокий человек в сюртуке, пахнущий сладкими духами.

Матвей разжал кулаки. Он не заметил, когда их сжал. Ногти оставили на ладонях красные полумесяцы.

Над рекой ударил колокол. Три. Опоздал на пять вдохов.

Глава 5. Ночной гость

Марфа Клёнова жила не на самой Мыльной улице, а во дворе за ней, в длинном деревянном флигеле, где когда-то была красильня. Красильня давно закрылась, но стены пропитались краской так, что на них до сих пор проступали синие и бурые разводы, особенно в сырость, и дети из флигеля звали его Синим домом. Матвей нашёл его, когда уже смеркалось. Во дворе горел костёр, у костра грелись два старика и собака, и один из стариков, не спрашивая, показал трубкой на крайнюю дверь.

Дверь была приоткрыта. Из-за неё доносились голоса.

Матвей остановился на крыльце.

– …совершенно никаких обязательств, – говорил сухой, шуршащий голос, который он узнал бы теперь из тысячи. – Вы просто ставите крест вот здесь. И вот здесь. И получаете тридцать рублей. Тридцать, Марфа Ильинична. Серебром. Вы столько за три года не выстираете.

– Я не понимаю, – голос Марфы был растерянный, усталый. – Я же год заложила. Зачем вам мой год?

– Не мне. Моему доверителю. Он, видите ли, человек со странностями. Собирает годы, отданные… как бы это сказать… с чистым сердцем. Ради другого. Ради ребёнка, например. Он считает, что такие годы приносят удачу. Причуда богатого человека, не более. А вам – тридцать рублей. На лекарство сыну. На хорошего лекаря, не на травницу из подвала. На поездку к морю, если пожелаете. Говорят, при кашле морской воздух творит чудеса.

Пауза.

– А выкупить я его потом смогу?

– Зачем вам выкупать? Вы же получите деньги.

– Я… – Марфа замолчала. – Там у меня яблоки. Бабушкин сад. Я хотела потом вспомнить.

– Ах, Марфа Ильинична. Вы и так помните. Иначе как бы вы об этом говорили? – Шуршание бумаги. – Крест, пожалуйста. Вот здесь.

Матвей толкнул дверь.

Комната была одна, маленькая, с низким потолком. Посередине стояло корыто с замоченным бельём, у стены – топчан, на топчане под тряпичным одеялом лежал мальчик и смотрел на взрослых большими лихорадочными глазами. У окна на табурете сидела Марфа, держа в руках перо. Напротив неё, на краешке единственного стула, сидел Пустошкин. В сером пальто, в серой шляпе, с серым саквояжем на коленях. На саквояже лежала бумага.

Оба обернулись.

– Добрый вечер, – сказал Матвей.

Пустошкин медленно поднялся. Лицо его не выразило ничего, ни досады, ни удивления.

– Господин Ключарёв, – сказал он. – Какое совпадение.

– Никакого, – сказал Матвей. – Марфа Ильинична, положите перо.

Марфа посмотрела на него, на Пустошкина, снова на него.

– Он говорит, тридцать рублей…

– Он вам говорит неправду. Вы можете подписать что хотите, но сначала дайте мне прочитать бумагу. Это ваше право по уложению: закладчик должен быть уведомлён о передаче заклада и присутствовать при оформлении доверенности. Статья двенадцатая, часть вторая.

– Её нет в уставе, – тихо сказал Пустошкин.

– Есть. Вы просто читали старое издание. Часть вторую добавили восемь лет назад, после дела вдовы Огарёвой. – Матвей протянул руку. – Бумагу, пожалуйста.

Пустошкин не шевельнулся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Потом серый человек улыбнулся своей бескровной улыбкой и протянул лист.

Матвей поднёс его к лампе.

Доверенность. Бланк Гильдии. «Я, нижеподписавшаяся Марфа Ильинична Клёнова, передаю поверенному Т. Е. Пустошкину право выкупа заклада № 143 в ломбарде „Под маятником“ и право распоряжения выкупленным временем по его усмотрению…» Всё обычно. Но ниже, мелким шрифтом, другим, сливающимся с узором бланка: «…а также право на последующие отмеры от моего лица в пределах, необходимых для исполнения доверенности, без дополнительного согласия».

Матвей перечитал последнюю строку дважды. Потом повернулся к Марфе.

– Вы знаете, что здесь написано?

– Я грамоте плохо…

– Здесь написано, что, поставив крест, вы разрешаете этому человеку брать у вас время, когда он захочет. Сколько захочет. Без вашего согласия. Год, два, десять. Сколько «необходимо для исполнения доверенности». А что необходимо, решает он.

Марфа побелела. Мальчик на топчане приподнялся на локте и закашлялся – глухо, надрывно, с бульканьем в груди.

– Это неверное толкование, – сказал Пустошкин ровным голосом. – Речь идёт о технической…

– Прохор Усачёв, – сказал Матвей. – Нижняя слобода. Позавчера. Он тоже подписывал вашу техническую бумагу? Десять лет на похороны, а потом ночью пришёл человек в фартуке и взял остальное?

На одну секунду – меньше секунды – серое лицо Пустошкина дрогнуло. Что-то промелькнуло в пепельных глазах. Не страх. Скорее тоска. Как у собаки, которую хозяин держит на слишком короткой цепи.

Потом это ушло.

– Я не знаю никакого Усачёва, – сказал Пустошкин.

– Он вас знал.

– Многие меня знают. Я поверенный. – Он аккуратно взял доверенность из рук Матвея, сложил, убрал во внутренний карман. – Ну что ж. Марфа Ильинична, вы вправе отказаться. Я ни на чём не настаиваю. Но предложение остаётся в силе. Тридцать рублей. Подумайте о сыне.

Он надел шляпу. У двери обернулся.

– Господин Ключарёв. Я передал ваш вчерашний ответ. Мне велели передать вам ответ на ответ.

– Какой?

– «Маятник качается в обе стороны». – Пустошкин помолчал. – Не знаю, что это значит. Мне просто велели передать.

Он вышел. Шаги его на крыльце были почти беззвучны.

Марфа сидела неподвижно, сжимая в пальцах перо, будто забыла, что его держит. Потом перо выпало и покатилось по полу. Мальчик кашлял.

Матвей подошёл к топчану, присел на край.

– Тебя Гриша зовут?

Мальчик кивнул, не переставая кашлять. Он был худой, бледный, с синими тенями под глазами и с такими же светлыми, как у матери, волосами. На тряпице у изголовья темнели пятна. Матвей приложил ладонь к его лбу. Горячий.

– Мох брали? – спросил он, не оборачиваясь.

– Брала, – отозвалась Марфа. – У Липы, под совой. Как вы сказали. Она ещё сверху корень дала, от жара, бесплатно. Сказала – от Ключарёва ничего не берёт.

– Пьёт?

– Пьёт. Второй день. Вроде полегче. Ночью меньше кашлял.

– Будет ещё легче. Только не бросайте. – Матвей помолчал. – Марфа Ильинична. Если он придёт ещё раз – этот, в сером, или кто другой от него, – не открывайте. Не разговаривайте. Ничего не подписывайте. Если будут ломиться – кричите. Громко. Чтобы весь двор слышал.

– А если… – она подняла на него глаза, полные страха. – А если они тот год, что у вас, возьмут? Он говорил, у него доверенность будет. Он же уже приходил к вам, да? За ним?

– Приходил.

– И что?

– Ничего. Его у меня не взять.

– Почему?

Матвей подумал, сколько ей сказать.

– Потому что я его спрятал, – сказал он. – Туда, куда никто не догадается заглянуть.

Она долго смотрела на него. Потом спросила то же, что спрашивали все:

– Зачем вы это делаете?

И на этот раз Матвей ответил правду. Почти всю.

– У меня была сестра. Вера. Она болела. Как ваш Гриша. Я продал одиннадцать лет, чтобы её вытащить. Не вытащил. – Он встал. – С тех пор мне не нравится, когда у матерей отнимают время, которое они отдали за детей. Вот и всё.

Марфа ничего не ответила. Только кивнула и отвернулась к окну.

По дороге назад он сделал крюк и спустился под Каменный мост.

Там, у самой воды, в сухой нише между быками моста, был угол, куда не доставал ни дождь, ни городовые. В углу горела жаровня, пахло рыбой и дымом. На ящике у жаровни сидел хромой старик в солдатской шинели без пуговиц и чинил сеть. Деревянная нога торчала вперёд, как оглобля.

– Лукьян? – спросил Матвей.

Старик поднял голову. Лицо было тёмное, обветренное, с белым шрамом через бровь.

– Ну, я. А ты кто будешь, барин?

– Ключарёв. Закладчик.

– А, – сказал Лукьян и отложил сеть. – Слыхал. Рыжая сегодня прибегала, просила ей час назад залить. Сказала, ты велел. Я залил. – Он прищурился. – Деньги-то мне за обратное кто заплатит? Обратное труднее.

Матвей положил на ящик гривенник. Лукьян посмотрел на монету, но брать не стал.

– Чего надо?

– Ланцет у тебя дедовский?

– Дедовский. Дед при старой Гильдии служил, ещё при десятине. Его потом выгнали, когда десятину отменили. Всех тогда выгнали, кто против голосовал. – Лукьян сплюнул в воду. – Он ланцет унёс. Сказал – не отдам этим. Мне оставил.

– К тебе приходил человек в кожаном фартуке? Большой, белые руки, спиртом пахнет?

Лукьян помолчал. Подбросил в жаровню щепку.

– Кузьма Деготь, – сказал он наконец. – Приходил. Неделю назад. Ланцет хотел купить. Давал пятьдесят рублей. Я не отдал. Он сказал – пожалеешь. Я сказал – я уже ногу пожалел, на турецкой, больше жалеть нечего. Он ушёл.

– Кто он такой?

– Был в Гильдии учеником. Давно, лет пятнадцать назад. Выгнали за пьянство. Потом по ночам вынимал, без бумаги, на Хлебном. Я думал, его давно посадили. А он вон – в новом фартуке, с деньгами. – Лукьян посмотрел на Матвея. – Ты, барин, если с ним дело имеешь, имей в виду: у него ланцет не наш. Не гильдейский. Гранёный. Я такие видел один раз, у деда в книжке нарисованы. Дед говорил, их при десятине делали для Сторожа. Чтоб брать много и быстро. Потом запретили и переплавили. А у Кузьмы – есть.

– Откуда?

– Это ты у Кузьмы спроси, – сказал Лукьян и снова взялся за сеть. – Только спрашивай издали.

Матвей поднялся по скользким ступеням на мост.

Матвей вернулся на Сутяжную к девяти. Отпер дверь, зажёг лампу, проверил маятник – год Марфы тикал на месте. Поужинал хлебом и холодной кашей. Потом сел за верстак, взял лупу и начал разбирать механизм, который ему принесли неделю назад: настольные часы с боем, принадлежавшие какому-то чиновнику из Казённой палаты. Ему нужно было чем-то занять руки, пока голова работает.

«Маятник качается в обе стороны».

Он слышал эту фразу раньше. Давно. Это была присказка отмерщиков, её говорили ученикам в первый день. Ланцет может брать, а может отдавать. Время течёт туда и обратно. Маятник качается в обе стороны. Но в устах Пустошкина, переданная от чужого имени, она звучала иначе. Как угроза. Ты отнял у нас, мы отнимем у тебя.

Или как напоминание. Девять лет назад кто-то качнул маятник в его сторону, и девушка умерла у него в кресле. Могут качнуть ещё раз.

Он вынул из механизма барабан с пружиной и положил на войлок. Руки двигались сами, точно и спокойно, как всегда. Голова гудела.

Кто бы ни стоял за Пустошкиным, ему нужен не просто год Марфы. Ему нужен год, отданный ради другого. С чистым сердцем, как сказал серый. Причуда богатого человека. Матвей не верил в причуды. Он верил в механизмы. Если кому-то нужна именно эта деталь, значит, без неё механизм не работает.

К полуночи он собрал часы чиновника. Отрегулировал бой. Поставил на полку. Погасил лампу, но спать не пошёл. Сел в кресло отмерщика за занавесью, в темноте, положил на колени тяжёлый латунный ключ от напольных часов – длиной в локоть, с рукоятью, как у молотка, – и стал ждать.

Ждал он долго.

Колокол Ратуши пробил час. Потом два. На Сутяжной было тихо, только где-то далеко, на реке, кричала ночная птица. Маятник Гаря стучал в темноте, мерно, успокаивающе. Матвей несколько раз ловил себя на том, что глаза у него закрываются, и щипал себя за руку.

В начале третьего в замке входной двери что-то тихо скрипнуло.

Матвей не шевельнулся.

Скрип повторился. Потом щелчок – первая сувальда. Ещё щелчок – вторая. Тишина, долгая, будто тот, за дверью, прислушивался. Третий щелчок. Дверь беззвучно приоткрылась – Матвей сам смазывал петли и сейчас пожалел об этом – и в лавку скользнули двое.

Первый был крупный, широкоплечий, в длинном кожаном фартуке поверх куртки. В руке он держал прикрытый фонарь, из щели которого выбивалась узкая полоска света. Второй – мелкий, вертлявый, с отмычками в пальцах. Он прикрыл дверь и остался у неё.

От первого пахло спиртом.

Здоровяк прошёл к стене с ячейками, уверенно, не сбиваясь, будто бывал здесь не раз. Поднял фонарь. Полоска света скользнула по номерам. Остановилась на сто сорок три. Здоровяк вынул корпус – тот, пустой, который Матвей положил вместо настоящего, – и поднёс к уху.

Постоял.

– Пусто, – сказал он низким, хриплым голосом. – Опять пусто.

– Да ну, – отозвался вертлявый от двери. – Как пусто? Он же сам видел, как она закладывала.

– Пусто, говорю. Подменил, сволочь. – Здоровяк открыл крышку корпуса, посветил внутрь, захлопнул. – Где-то здесь держит. Ищи.

– Где искать-то? Тут их сотня.

– Он не в ячейке держит. В ячейке ему боязно. Под половицей где-нибудь. Или в шкафу. Шкаф где?

Вертлявый отлип от двери и пошёл вдоль стены, ощупывая её. Здоровяк повернулся к верстаку, к несгораемому шкафу в углу. Полоска света скользнула мимо занавеси, за которой сидел Матвей, мимо напольных часов, задержалась на маятнике. На одно мгновение. Латунный диск сверкнул в луче. Здоровяк остановился. Наклонил голову, будто прислушиваясь к ходу.

Матвей встал.

Он не думал. Он просто встал и вышел из-за занавеси, держа ключ, как держат кочергу, и ударил здоровяка по руке, в которой тот держал фонарь. Фонарь вылетел, покатился по полу, заслонка соскочила, и лавку залило дёрганым жёлтым светом. Здоровяк взревел. Не от боли – от неожиданности. Он развернулся всем телом, быстро, слишком быстро для своего размера, и ударил Матвея кулаком в грудь. Матвей отлетел к верстаку. В глазах потемнело. Он слышал, как с полки посыпались часы, как зазвенело стекло.

– Держи его! – крикнул вертлявый.

Здоровяк шагнул вперёд, и Матвей увидел у него в руке ланцет. Длинный, серебряный, с часовой головкой. Только головка была не круглая, как у обычных, а гранёная, и спусковой зуб торчал наружу, как жало.

– Не дёргайся, часовщик, – прохрипел здоровяк. – Я тебя не до конца. Так, полгодика. Чтоб знал.

Матвей нащупал на верстаке за спиной что-то тяжёлое. Тиски. Маленькие ручные тиски, которыми он зажимал колёса. Он швырнул их не глядя.

Тиски попали здоровяку в лицо. Хрустнуло. Здоровяк охнул, схватился за нос, и между пальцами у него потекло тёмное. Ланцет он не выронил.

И тогда напольные часы ударили.

Они не должны были бить. Было без двадцати три. Бой у этих часов срабатывал только на час и на половину, Матвей сам его регулировал. Но часы ударили – один раз, гулко, низко, так, что задрожали стёкла в окне и с полки упали последние уцелевшие корпуса. Звук прокатился по лавке, как волна, и у Матвея заложило уши.

Здоровяк отшатнулся, будто его ударили.

Вертлявый у двери взвизгнул.

– Тикаем! Тикаем, Кузьма! Это ж он, это ж Гарев ход!

– Заткнись! – рявкнул здоровяк, но попятился.

Часы ударили второй раз. Громче. Маятник за стеклом качнулся так широко, что ударился о стенку корпуса – Матвей никогда не видел, чтобы он так качался, это было невозможно, амплитуду держал спуск. Вертлявый уже вылетел за дверь. Здоровяк, зажимая разбитый нос, бросился за ним и в дверях на мгновение обернулся.

– Я ещё приду, – прохрипел он. – Слышишь, часовщик? За ней приду. И за тобой.

И исчез в темноте.

Матвей стоял у верстака, держась за грудь. Дышать было больно. Фонарь на полу догорал, коптя. Вокруг валялись осколки стекла, раскатившиеся корпуса, разбитые часы с полки.

Напольные часы молчали. Маятник качался ровно, мерно, как всегда, в пределах своей обычной дуги.

Матвей подошёл к ним. Открыл дверцу. Остановил маятник ладонью, открыл полость в диске. Год Марфы лежал в ней, тёплый. Тикал. Ровно, спокойно, как спящий ребёнок.

Он закрыл полость, отпустил маятник и прислонился лбом к стеклу.

– Нестор Ильич, – сказал он тихо. – Что же вы в них такое поставили?

Часы, разумеется, не ответили.

Он поднял фонарь, задул его и зажёг лампу. Обошёл лавку. Подобрал корпуса, проверил каждый – все целы, все тикают. Кроме сто семнадцатого, который был пуст ещё со вчерашнего

дня, и подменного сто сорок третьего, который был пуст с самого начала. Собрал осколки. Поставил на место тиски.

У двери на полу что-то блеснуло.

Матвей наклонился. Это была печатка – маленькая, медная, на кожаном шнурке, видно, сорвалась с шеи у вертлявого, когда тот вылетал в дверь. Матвей поднёс её к лампе.

На печатке был маятник. Качающийся влево.

А под маятником, там, где на настоящей печати Гильдии стоял циферблат с двенадцатью отметками, был выбит другой циферблат. Разбитый. Расколотый пополам глубокой трещиной, так, что половина цифр съехала вниз, будто циферблат раскололся от удара.

Матвей долго смотрел на эту печать. Потом положил её в жестяную коробку с холодными монетами и запер шкаф.

Спать он так и не лёг.

Когда рассвело, он вышел на крыльцо, чтобы глотнуть воздуха. Сутяжная просыпалась. Где-то хлопали ставни, шаркала метла дворника, пахло свежим хлебом из пекарни на углу. Матвей стоял, прислонившись к косяку, и смотрел, как солнце золотит медный маятник на его вывеске.

На нижней ступеньке крыльца, обхватив колени руками, сидела Уста.

Она подняла голову. Посмотрела на него – на разбитую губу, на пятно крови на рубашке, на разбитое стекло в окне.

– Ничего себе, – сказала она. – Я, это… подумала. Насчёт двадцати копеек.

– И что надумала?

– Мало, – сказала Уста. – Тридцать. И обед. И я сразу знаю, куда вчера твой здоровый в фартуке побежал.

Глава 6. Подручная

– Двадцать пять, – сказал Матвей.

– Тридцать.

– Двадцать пять и обед с собой. Для братьев.

Уста задумалась. Было видно, что такой поворот она не предусмотрела.

– С собой – это сколько?

– Сколько унесёшь.

– Я много унесу, – предупредила она.

– Я так и думал.

Она вскочила со ступеньки, плюнула на ладонь и протянула ему. Матвей посмотрел на ладонь, вздохнул и пожал. Ладонь была узкая, жёсткая, в цыпках.

– Тогда так, – деловито сказала Уста, отряхивая руки о куртку. – Здоровый твой побежал не к мосту, а в обратную сторону, к Хлебному двору. Я за ним до угла Солодовой дошла, а дальше не пошла, там у ворот собаки. Второй, мелкий, побежал к реке. Того я не видела, только слышала, как он ругается. А потом я вернулась и тут села. Думала, ты убитый, а ты ничего, живой.

– Ты что, всю ночь здесь сидела?

– Не всю. С двух. – Она пожала плечами. – Я пришла сказать, что согласна, а у тебя свет не горит. Думаю, ладно, утром. Села. Задремала. Потом слышу – скребутся. Потом как бахнет! Я аж подпрыгнула. Это у тебя что так бахнуло?

– Часы.

– Часы? – Она недоверчиво заглянула в разбитое окно. – Это такие часы бывают?

– Бывают, – сказал Матвей. – Как выяснилось. Заходи.

Уборка заняла всё утро. Уста оказалась работницей быстрой, ловкой и бесцеремонной. Она подметала стекло, не дожидаясь указаний, мыла пол, таскала воду из колодца на углу, а в промежутках трогала всё, до чего могла дотянуться, и задавала вопросы.

– А это что?

– Анкерное колесо. Не трогай.

– А это?

– Спираль. Волосок. Не дыши на неё.

– Почему?

– Потому что она тоньше волоса, и если ты на неё дохнёшь, она согнётся, и часы будут врать на полчаса в сутки.

Уста отодвинулась от верстака и посмотрела на волосок с уважением, как на змею.

– А это? – Она показала на стену с ячейками.

– Время. Чужое.

– Сколько?

– Сто сорок два заклада. Если в годах, около девяноста лет. Плюс месяцы и недели.

– Девяносто лет, – повторила Уста. Она подошла к стене и встала перед ней, задрав голову. – Это ж целая жизнь. Даже больше.

– Даже больше.

– И все они живые? Ну, те, чьё это?

– Почти все. Трое умерли, пока лежало. Их время уже никому не вернёшь.

– А что ты с ним делаешь? С мёртвым?

– Ничего. Держу.

– Зачем?

Матвей отложил лупу.

– Потому что если я его продам, кто-нибудь проживёт чужие годы и будет видеть сны мертвеца. А если отдам Гильдии, Гильдия продаст. А если просто выпущу, оно уйдёт в воздух, и всё. Будто и не было человека. – Он помолчал. – Пусть лежит. Когда-нибудь пойму, что с ним делать.

Уста долго смотрела на стену.

– А моё время, – сказала она вдруг, – которое я Лукьяну продавала. Где оно?

– Не знаю. Кто-то купил на рынке. Может, уже прожил.

– А если тот серый купил? Как у Мишки?

Матвей не ответил. Уста повернулась к нему, и он увидел, что она поняла.

– Он мне вчера назад один залил, – сказала она. – Лукьян. Тот, утренний. Я сидела, и когда лилось, вспомнила маму. Как она мне косу плела. Ни разу раньше не вспоминала, а тут вспомнила. – Она отвела глаза. – А сколько я всего продала? Ну за всё время?

– Сколько раз ходила?

– Не знаю. Много. С прошлой зимы. Раз в неделю, а то и два.

Матвей посчитал в уме. Час в неделю, иногда два, с прошлой зимы. Около сотни часов. Четыре дня с небольшим.

– Немного, – сказал он. – Около четырёх дней.

– Четыре дня, – повторила Уста. Ей было четырнадцать, и четыре дня ей, видно, казались неделей. – А если серый их купил? И в дело пустил? Я что, тоже… как та, про которую ты Карпычу писал? Которая имя забыла?

Матвей вздрогнул.

– Откуда ты знаешь про Карпыча?

– Так я ж за тобой вчера ходила, – просто сказала Уста. – Ещё до того, как к тебе прийти. С рынка. Хотела посмотреть, что ты за человек. Ты в управу ходил, потом в Гильдию, потом в «Медведя». А за тобой ещё один ходил, в котелке. Я на него смотрела, а он на тебя. Он в «Медведе» у окна сел, а ты через кухню ушёл. Я у кухни стояла, слышала, как тебе буфетчик говорил. Ну и что ты записку оставил для Карпыча. А что в записке, я не знаю. Я ж грамоте не умею.

Матвей смотрел на неё и думал, что это самый неожиданный и самый полезный человек, которого он встретил за последние девять лет.

– Про женщину, которая забыла имя, ты откуда взяла?

– А это ты сам вчера сказал. Когда из Кожевенного шёл. Ты шёл и сам с собой говорил. «Не помнит своего имени», – говорил. «Не помнит». Я ещё подумала – чудной.

– Я говорил вслух?

– Ага. Ты всегда так. Ты и сейчас, когда волосок трогал, сказал: «Ну давай, милая, не капризничай».

Матвей хотел возразить и не стал. Возможно, так и было.

– Твоё время, – сказал он, – четыре дня – это слишком мало, чтобы ты что-то почувствовала. Даже если его… если его используют. У Ефросиньи было полгода. Это другое.

– А если бы у меня было полгода?

– У тебя не будет полгода. Потому что ты больше не пойдёшь к Лукьяну.

– А если пойду?

– Тогда я буду платить тебе не двадцать пять копеек, а пять.

Уста фыркнула, но больше не спорила.

К полудню лавка выглядела почти как прежде, если не считать разбитого окна, которое Матвей заколотил досками до прихода стекольщика. Он сварил щи – умел, хоть и не любил, – накормил Усту, а остальное перелил в глиняный горшок и завязал тряпицей. Уста следила за горшком с таким вниманием, будто тот мог сбежать.

– Это Ваньке с Сенькой, – сказала она. – Ты не думай, я не сама. Я им отнесу и вернусь.

– Где вы живёте?

– На Хлебном. В подвале у пекарни Мохова. Там тепло, от печей. Мохов разрешает, если я ему по утрам мешки таскаю.

– На Хлебном, – повторил Матвей. – Туда же побежал Кузьма.

– Ага. Я ж говорю. – Уста завязала горшок покрепче. – Там за пекарней склад есть. Старый, ещё от купца какого-то. Его года три никто не открывал, а в последний месяц туда подводы ходят. Ночью. Серые. Я думала, мука. А может, и не мука.

Матвей отложил ложку.

– Покажешь?

– Покажу. Только днём там смотреть нечего. Ворота заперты, собаки. А ночью они приезжают. – Она подумала. – Ты что, хочешь туда залезть?

– Посмотреть.

– Там собаки, – повторила она. – Злые. Две. Одна рыжая, другая пегая. Пегая кусается без лая.

– А ты их знаешь?

– Знаю. Я им кости ношу от Мохова. Они меня не трогают.

Они переглянулись.

– Двадцать пять копеек, – напомнил Матвей.

– Это за подметать, – возразила Уста. – А за собак отдельно.

Днём они пошли к Хлебному двору вместе. Матвей не хотел, чтобы Уста шла одна, с горшком щей, мимо того самого склада. Она шла впереди, ловко пробираясь сквозь толпу, а он – следом, держа в руке трость. Трость он носил редко, но сегодня взял: после удара Кузьмы при каждом вдохе в груди что-то кололо, и опора не мешала.

Хлебный двор был сердцем городской торговли зерном. Длинные приземистые амбары с широкими воротами стояли вокруг мощёной площади, на которой с утра до ночи грохотали подводы, ругались возчики, кричали весовщики. Над площадью висела мучная пыль, такая густая, что солнце сквозь неё казалось белым. Пекарня Мохова стояла на краю, у выезда на Солодовую, и от неё на всю округу пахло свежим хлебом.

Склад, о котором говорила Уста, оказался за пекарней, в глубине двора, отгороженного высоким забором. Старое кирпичное здание без окон, с одной широкой дверью, обитой железом, и с маленькой дверцей сбоку. На двери висел замок величиной с кулак. Забор был новый – доски ещё светлые, не потемневшие от дождя, – а вот ворота в нём старые, перекошенные.

– Видишь? – шепнула Уста, прижавшись к стене пекарни. – Вон там, под навесом, будка. Там собаки.

Матвей видел. Под навесом у ворот действительно стояла будка, и из неё торчала рыжая морда, положенная на лапы.

– Ночью кто сторожит?

– Никто. Только собаки. Подвода приезжает, двое выходят, открывают ворота, заводят, разгружают, уезжают. Собак они, видно, сами кормят, те на них не лают.

– Сколько раз в неделю?

– Да почти каждую ночь в последнее время. А раньше раз в неделю. Я по колёсам слышу, у нас в подвале окошко прямо на двор.

– Откуда приезжают?

Уста пожала плечами.

– С той стороны. С Солодовой. А куда уезжают, не знаю. Может, туда же.

Матвей разглядывал склад. Железная дверь, замок, без окон. Стены толстые, старой кладки, не пробьёшь. Но крыша – крыша была крыта железом, и железо проржавело, и в одном месте, у конька, Матвей разглядел щель, из которой торчала труба. Не печная. Вытяжная. Значит, внутри что-то греют или сушат.

Или выпаривают.

– Мне нужно посмотреть внутрь, – сказал он.

– Сегодня?

– Сегодня. Ночью. После того как подвода уедет.

Уста посмотрела на него снизу вверх.

– А если поймают?

– Не поймают.

– Откуда знаешь?

– Потому что ты будешь стоять на улице и свистеть, если кто-нибудь придёт.

– Я? – Уста вытаращила глаза. – А собаки?

– Собаки тебя знают.

– А тебя – нет.

– Значит, ты меня с ними познакомишь.

Уста помолчала, потом медленно расплылась в улыбке. Улыбка у неё была кривая, на одну сторону, и делала её моложе лет на пять.

– Это стоит рубль, – сказала она.

– Пятьдесят копеек.

– Семьдесят. И я тебе ещё одну вещь скажу. Бесплатно.

– Какую?

– Тот, в котелке, который за тобой вчера ходил. Он сейчас стоит у весовой. Вон там, у столба. И делает вид, что считает мешки.

Матвей не обернулся. Он смотрел на склад и чувствовал, как по спине между лопатками ползёт холодок.

– Давно?

– С Сутяжной. Он от твоего дома за нами шёл. Я его на углу Мыльной приметила. Ты не оборачивайся, он поймёт.

– Я и не оборачиваюсь.

– Ага, – одобрила Уста. – Так. Сейчас я пойду к Мохову, отнесу щи. А ты иди дальше, через двор, на Солодовую, будто к знакомому. Он за тобой пойдёт. А я посмотрю, куда он потом свернёт.

– Это опасно.

– Он на меня не смотрит. Я ж девчонка с горшком. Таких на Хлебном сто.

Она подхватила горшок и нырнула в дверь пекарни, не дожидаясь ответа. Матвей постоял ещё мгновение, затем медленно, опираясь на трость, пошёл через площадь. Мимо весовой, не глядя на столб. Мимо амбаров. На Солодовую.

Солодовая была тихая улица, пахнущая пивом и прелым зерном. Здесь стояли солодовни, и из их окон валил тёплый сладковатый пар. Матвей прошёл до конца, свернул в переулок, постоял у лавки, разглядывая в витрине медные кастрюли. Отражение в стекле показало ему улицу за спиной. Котелка на ней не было.

Он вернулся к пекарне Мохова через полчаса, другой дорогой.

Уста ждала его у задней двери, на ящиках. Горшка у неё в руках уже не было.

– Ну? – спросил он.

– Он за тобой не пошёл, – сказала Уста. – Он как увидел, что ты на Солодовую свернул, сразу развернулся и пошёл к складу. Через калитку. У него ключ. Собаки на него даже не тявкнули. Вошёл в маленькую дверь, сбоку. Там был, может, четверть часа. Потом вышел, запер и ушёл обратно, к Каменной.

– Что-нибудь выносил?

– Ничего. Ну, только бумагу какую-то в карман сунул. – Уста помолчала. – И ещё. Когда дверь открылась, оттуда пахнуло. Знаешь, как пахнуло?

– Как?

– Как у тебя в лавке. Только сильнее. Сладкое такое. Как пыль на солнце. – Она сморщила нос. – У тебя в лавке так немножко пахнет, около стены, где часы. А там – прямо волной.

Запах времени, подумал Матвей. Тот самый, что он чувствовал в прихожей Гильдии. Сладковатый, пыльный. Его не замечают те, кто не работал с ланцетом.

А Уста заметила. Сразу. С первого раза.

– Ты раньше такой запах чувствовала? – спросил он.

– Ну да. На рынке иногда, когда Лукьян вынимает. И когда серый ходил. От него тоже так пахло. Только слабо. – Она подозрительно прищурилась. – А что?

– Ничего. Просто большинство людей этого не чувствуют.

– Ну и дураки, – сказала Уста.

Матвей долго смотрел на неё. Рыжая, конопатая, в мальчишеской куртке, в цыпках, четырнадцать лет, ни слова грамоты. Чует время, как чуют дым.

Гарь когда-то говорил ему, что таких людей – один на тысячу. Что из них выходят лучшие отмерщики. И самые несчастные, потому что они слишком хорошо понимают, что держат в руках.

– Ладно, – сказал он. – Вечером, как стемнеет, приходи ко мне. Возьмём фонарь. И кости для собак.

– Семьдесят копеек, – напомнила Уста.

– Семьдесят.

Она соскочила с ящиков, потом вдруг остановилась.

– Слушай. А те часы у тебя. Которые бахнули. Они что, живые?

– Не знаю, – честно сказал Матвей.

– А кто их сделал?

– Мой учитель. Нестор Ильич Гарь. Он живёт на Каменной. Он сейчас самый старый часовщик в городе.

– А ты его спроси.

– Спрошу, – сказал Матвей. – Когда пойму, о чём спрашивать.

Он вернулся на Сутяжную. Открыл лавку. Принял сапожника Еремея, который выкупал свою неделю и долго охал над заколоченным окном. Отказал двум закладчикам, которые хотели продать время на рынке через него, без бумаги. Починил брегет приказчика из соседней лавки. Работал механически, не думая, а сам всё время чувствовал спиной напольные часы Гаря – как они стоят в углу и мерно стучат, и в латунном диске маятника спит чужой год.

«Это ж Гарев ход», – крикнул ночью вертлявый. Кузьма и его подручный знали Гаря. Знали его часы. И испугались их.

Около пяти в лавку заглянул мальчишка-половой из «Медведя», в белом фартуке до пят, с подносом под мышкой, будто нёс заказ. Поднос он поставил на стойку, снял с него салфетку. Под салфеткой лежал сложенный листок.

– От Карпыча, – шепнул мальчишка и, не дожидаясь медяка, убежал.

Матвей развернул листок. Почерк был угловатый, размашистый, с сильным нажимом, будто писали не пером, а гвоздём.

«Казначей Лыков третий день не является на службу. Дома нет. Жена говорит – уехал к сестре в Заречье, сестры у него нет. Акт № 112 о списании бланков в архиве Гильдии отсутствует, это мне сказал под большим секретом их младший писарь за полтинник. Привратника Фому сегодня в семь утра вытащили из Версты у Рыбных рядов. По заключению лекаря – утонул в пьяном виде. Фома не пил двенадцать лет, у него зарок, все в Гильдии знают. Хвост за вами – Семён Жохов, бывший городовой, уволен за взятки, теперь нанимается частным. Кто нанял, узнаю. Сидите тихо. Карпыч».

Матвей прочитал записку дважды. Потом сложил и поднёс к огню лампы. Бумага занялась, свернулась, почернела. Он держал её, пока пламя не обожгло пальцы, и бросил пепел в жестяное блюдце.

Фома.

Утром вчерашнего дня Фома стоял в прихожей Гильдии, в синей ливрее с медными пуговицами, и, опустив глаза, просил прощения за то, что девять лет назад промолчал. А сегодня в семь утра его вытащили из реки.

Он рассказал Матвею. Матвей написал Шершневу. Записку взял буфетчик «Медведя». Где-то между этими тремя точками была дыра, через которую ушло слово. Или ни через какую дыру оно не уходило, а просто тот, кто велел следить за Матвеем, видел, как привратник задержал его у дверей, как они говорили вполголоса, и этого оказалось достаточно.

Матвей сидел и смотрел на пепел в блюдце.

– Ты чего? – спросила Уста. Она домывала пол у двери и смотрела на него снизу. – Ты белый весь.

– Человек умер, – сказал Матвей. – Который мне вчера правду сказал.

Уста выпрямилась, держа тряпку.

– Из-за тебя?

– Из-за того, что сказал.

Она помолчала. Потом бросила тряпку в ведро.

– Тогда я тоже никому ничего не скажу, – решительно сказала она. – Даже Ваньке. А ты, это… ты тоже больше не говори вслух сам с собой. А то мало ли.

Матвей невольно усмехнулся. Усмешка вышла кривая.

– Постараюсь.

Под вечер, когда тени на Сутяжной стали длинными и синими, Матвей запер ячейку с ланцетами, сложил в сумку фонарь, отмычки (они остались у него с тех времён, когда он чинил замки в Гильдии), моток верёвки, кусок мела. Потом подумал и положил туда же пустой серебряный корпус.

На всякий случай. Если в складе есть что-то, что ещё можно спасти.

В восемь в дверь постучали. На пороге стояла Уста с узелком костей в руке.

– От Мохова, – сказала она. – Свиные. Пегая такие любит больше всего.

Матвей взял у неё узелок, взвесил на руке, погасил лампу. В темноте маятник Гаря стучал мерно и ровно, и ему на мгновение показалось, что стук стал чуть громче, чуть настойчивее, будто часы провожали его в дорогу. Он запер дверь на все три сувальды и, подумав, вложил в щель между дверью и косяком тонкую волосинку. Если ночью кто-нибудь откроет, волосинка упадёт, и он узнает.

– Пошли, – сказал он.

Глава 7. Хлебный двор

Ночью Хлебный двор становился другим местом.

Днём здесь всё грохотало, пылило и кричало, а ночью стояла такая тишина, что слышно было, как в амбарах шуршат мыши и как далеко, на реке, поскрипывают вёсла в уключинах. Мучная пыль осела, и воздух стал прозрачным и холодным, с запахом зерна и дёгтя. Над крышами висела половинка луны, тусклая, в мутном ободе. Фонари горели только у ворот на Солодовую, два, и то вполнакала.

Матвей и Уста сидели в подвале пекарни Мохова, у того самого окошка, которое выходило прямо на задний двор. Окошко было узкое, под самым потолком, на уровне земли, и чтобы в него смотреть, надо было стоять на ящике. Уста стояла. Матвей сидел рядом на мешке с мукой, привалившись спиной к тёплой стене, за которой гудели хлебные печи.

В углу подвала, на соломенном тюфяке под старым тулупом, спали двое мальчишек. Один, постарше, разметался во сне и сбросил тулуп; Уста, не оборачиваясь от окна, протянула назад руку и натянула тулуп обратно. Второй, младший, спал, сунув палец в рот. На перевёрнутом ящике у их изголовья стоял пустой горшок из-под щей, начисто выскобленный.

– Ванька и Сенька, – шёпотом сказала Уста. – Ванька старший. Он умный, он считать умеет до ста. А Сенька пока только до пяти. Но он зато поёт.

– Хорошо поёт?

– Громко, – сказала Уста. – Тише. Едут.

Матвей поднялся и встал на соседний ящик.

Со стороны Солодовой донёсся стук копыт и скрип колёс. Потом ворота в заборе, перекошенные, старые, отворились с протяжным визгом, и во двор въехала подвода. Серая лошадь, серый брезентовый верх. На облучке – двое. Один сошёл, взял лошадь под уздцы и подвёл к железной двери склада. Второй спрыгнул с другой стороны.

Собаки выскочили из будки, но не залаяли. Рыжая завиляла хвостом. Пегая подошла к одному из возчиков, понюхала его сапоги и вернулась в будку.

– Это не Кузьма, – прошептала Уста.

– Вижу.

Оба возчика были в тёмных куртках, без фартуков. Один отпер большой замок на железной двери, налёг на неё плечом. Дверь со стоном отъехала. Изнутри потянуло – даже сюда, сквозь щель окошка, через весь двор, – тем самым сладковатым, пыльным запахом. Матвей почувствовал его кожей, как чувствуют близкую грозу.

Возчики начали разгружать подводу. Ящики были длинные, плоские, вроде того, что Матвей видел во дворе Гильдии. Они носили их по одному, вдвоём, осторожно, как носят стекло или покойника. Восемь ящиков. Потом из склада они вынесли другие – поменьше, квадратные, тяжёлые, судя по тому, как напрягались спины, – и погрузили на подводу. Шесть.

– Привезли длинные, увезли квадратные, – шепнул Матвей.

– Ага. Всегда так. Я раньше думала – мешки с мукой в ящиках возят.

Возчики заперли дверь, кинули собакам что-то из мешка, развернули подводу и уехали. Ворота снова завизжали и закрылись. Стук копыт растаял в сторону Солодовой.

Матвей подождал. Сосчитал до трёхсот. Ещё до трёхсот. На дворе было тихо.

– Пошли, – сказал он.

Они выбрались из подвала через заднюю дверь пекарни, которую Уста отперла своим ключом – ключ ей дал Мохов, за мешки. Задний двор пекарни отделялся от двора склада только низкой загородкой. Уста перемахнула через неё первой и тихо свистнула. Из будки показалась рыжая морда. Потом пегая. Обе собаки подошли к Усте, ткнулись носами ей в ладони. Она развязала узелок и бросила им кости.

– Иди, – шепнула она Матвею. – Медленно. Дай им тебя понюхать.

Матвей перелез через загородку. Колено отозвалось болью, грудь – тоже. Он замер. Пегая подняла голову от кости и уставилась на него. Глаза её в лунном свете светились жёлтым. Она не зарычала. Просто смотрела.

– Свой, – сказала ей Уста. – Свой, слышишь? Нюхай.

Пегая подошла. Обнюхала его сапоги, колени, руку. Матвей стоял неподвижно. Собака фыркнула, вернулась к кости и легла.

– Всё, – прошептала Уста. – Теперь не тронет.

Матвей подошёл к маленькой боковой дверце. Замок на ней был простой, амбарный, с одним ригелем. Отмычки нашлись в сумке на ощупь. Он вставил крючок, нащупал пружину, повернул. Через полминуты замок щёлкнул.

– Стой здесь, – сказал он Усте. – Если кто-нибудь появится – свисти. Два коротких, один длинный.

– А если собаки залают?

– Тогда беги домой.

– А ты?

– А я буду знать, что пора уходить.

Уста кивнула и скользнула в тень у стены. Матвей приоткрыл дверцу и вошёл.

Внутри было темно и тепло. Запах ударил в лицо такой густой, что на мгновение у него закружилась голова, как бывает, если слишком резко встать. Сладкая пыль. Мёд, оставленный на солнце. Сухие травы. И под всем этим – что-то горелое, едкое, вроде палёного волоса.

Он зажёг фонарь, прикрыв его ладонью, и огляделся.

Склад был длинный, с низким сводчатым потолком на кирпичных столбах. Вдоль одной стены тянулись стеллажи – пустые, только кое-где на полках валялись обрывки войлока. Посреди зала стояли столы, длинные, грубые, сколоченные из досок, и на столах – Матвей подошёл ближе – стояли корпуса. Пустые часы. Сотни. Они стояли рядами, как солдаты на смотру, серебряные, медные, оловянные, большие и маленькие, с номерами разных ломбардов, с печатями разных закладчиков. Все с откинутыми крышками. Все тёмные. Все молчали.

Матвей взял один. Пусто. Другой. Пусто. Третий – клеймо Рябого. Пусто.

В дальнем конце зала, у стены, стояла печь. Не простая печь, а что-то вроде перегонного куба, какие бывают у винокуров: медный котёл на кирпичном основании, крышка с трубами, от крышки трубы уходили вверх, к той самой вытяжке в крыше, а одна, толстая, спиралью спускалась вниз, в большой стеклянный сосуд. Сосуд был размером с бочонок. Пустой, но на стенках его изнутри оседал тусклый серый налёт, похожий на иней.

Под котлом – топка. В топке – пепел. Холодный, серый, мелкий, как мука.

Матвей присел и взял щепоть. Пепел был лёгкий, почти невесомый, и, едва он поднёс его к глазам, щепоть шевельнулась, будто живая, и рассыпалась у него между пальцами, и на одно мгновение – одно-единственное мгновение – он увидел женское лицо. Широкое, румяное, с ямочками на щеках, смеющееся. Девка в венке прыгает через костёр, и подол у неё вспыхивает, и все вокруг кричат, а она смеётся.

Он отдёрнул руку. Видение исчезло.

Ефросинья, подумал он. Ефросинья Лаптева, которая смеялась в его кресле, вспоминая, как в девках прыгала через костёр.

Он долго сидел на корточках перед топкой, глядя на пепел.

Теперь он понимал. Теперь всё складывалось. Время, вынутое из человека, никогда не бывает пустым. В нём остаётся осадок. Воспоминания, запахи, лица, голоса. Всё, что человек успел за это время прожить или вспомнить. Поэтому покупатели чужих лет видят чужие сны. Поэтому старики, купившие слишком много, сходят с ума. Осадок – это примесь. Грязь, если смотреть на время как на товар.

А кто-то научился эту грязь выжигать.

Корпуса привозили сюда. Вскрывали. Сливали время в медный котёл. Грели. Осадок – память – поднимался с паром и уходил в трубу. А то, что оставалось, чистое, без запаха и вкуса, без памяти, без имени, стекало по спирали в стеклянный сосуд. И это чистое время потом разливали в квадратные ящики и увозили. Куда-то.

А выжженная память оседала пеплом в топке.

И где-то в Кожевенном переулке женщина, чьё время сожгли, лежала на кровати и не помнила, как её зовут. Потому что нить, связывающая человека с его временем, не рвётся, когда время закладывают. Тянется. И когда время горит, человек на другом конце этой нити горит тоже. Не телом. Памятью.

А если сжечь не полгода, а сорок лет?

Прохор Усачёв, грузчик, перед тем как рассыпаться, помнил только яблоки. Больше ничего. Всё остальное сгорело в этой топке.

Матвей поднялся. Колени дрожали. Он заставил себя дышать ровно и медленно – так, как учили в Гильдии перед отмером, когда руки должны быть спокойными. Вдох на четыре счёта. Выдох на шесть.

Потом он вынул из сумки пустую жестянку из-под леденцов, которую взял на всякий случай, и осторожно, ложкой для смазки, насыпал в неё пепла из топки. Закрыл. Убрал в сумку. Если Шершневу нужно доказательство, пусть посмотрит на это.

Он обошёл склад. У дальней стены нашёлся стол поменьше, с конторскими принадлежностями: чернильница, перья, счёты, стопка бумаг, придавленная пресс-папье в виде маленькой гирьки. Бумаги оказались накладными. Даты, номера ящиков, количества. «Принято: 8 д. Отправлено: 6 кв.». Почерк ровный, писарский. В самом низу стопки лежала тетрадь в клеёнчатой обложке, и в тетради был список.

Имена. Сотни имён, выписанных столбцом, с числами рядом. Некоторые зачёркнуты. Матвей вёл пальцем по строчкам при свете фонаря.

«Усачёв П. Е. – 10 + 30 (ночн.) – зачерк.»

«Лаптева Е. П. – 0,5 – сожж.»

«Дёмина А. – 1 мес. – сожж.»

«Огурцов Ф. – 3 – сожж.»

«Скворцова Л. – 8 (ночн.) – зачерк.»

Зачёркнутые – мертвы, понял Матвей. «Ночн.» – взятое ночью, без купчей. Кузьма с гранёным ланцетом.

Он листал дальше. Страница за страницей. Он узнавал имена из книг ломбардов на Сутяжной, на Меняльной, из Залогового ряда. Список не кончался. Последняя заполненная страница была исписана наполовину, и последняя строчка гласила:

«Клёнова М. И. – 1 – ЖИВОЙ. Ключ. Не жечь. Беречь. Нужен до Долгой ночи».

Слово «живой» было подчёркнуто дважды.

А под ним, совсем внизу, другим почерком – тонким, острым, с наклоном влево, – было приписано: «Всего чистого на сегодня: 287 л. Нужно 300 и ключ. Остаток – 13 и ключ».

Матвей вырвал страницу. Подумал – и вырвал ещё две, предыдущие, где были зачёркнутые. Сложил и сунул за пазуху. Тетрадь закрыл и положил на место, под стопку накладных.

Двести восемьдесят семь лет чистого времени. Нужно триста и ключ. Ключ – год Марфы. Живой. Отданный ради другого. Не жечь, беречь. До Долгой ночи.

Долгой ночью в Верстани звали самую длинную ночь года, зимнее солнцестояние. До неё оставалось пять недель.

Он уже собирался уходить, когда фонарь выхватил из темноты ещё одну полку. Низкую, у самого пола, за печью. На ней в ряд, отдельно от всех, лежали семь корпусов. Закрытые. И один из них тихо, на пределе слуха, тикал.

Матвей опустился на колени и взял его. Серебро. Номер сто семнадцать. Его клеймо – маятник, качающийся вправо. Только печать на нём была сорвана, а потом прилеплена заново.

Внутри теплилось. Немного. Не полгода, но и не пустота. Он поднёс корпус к уху. Тиканье было неровное, сбивчивое, как дыхание у больного. Но было.

Значит, они не всё сожгли. Значит, его подменный сто семнадцатый, который он нашёл пустым у себя в лавке, был выпит не до дна. Кто-то налил из настоящего корпуса в чужой и запечатал поддельной печатью. А его собственный корпус с остатком времени Ефросиньи притащили сюда. И не сожгли сразу – отложили. Почему? Может, остаток был слишком мал для котла. Может, его отложили на утро. Может, просто забыли.

Он сунул корпус за пазуху, рядом со страницами.

Снаружи раздался свист. Два коротких, один длинный.

Матвей задул фонарь.

Он стоял в темноте, прислушиваясь. Сначала ничего. Потом – скрип ворот, на этот раз тише, будто их открывали осторожно. Шаги по двору. Двое. Собаки не залаяли. Голоса.

– …говорю тебе, утром надо было, – говорил один, хрипловато, сердито. Матвей узнал этот голос – человек в котелке, Семён Жохов, бывший городовой. Он слышал его утром в Гильдии, когда тот спрашивал у Фомы, который час. – Посреди ночи тащиться, как воры.

– Утром здесь весь Хлебный двор, – ответил второй голос. Мягкий, бархатный, с чуть заметной ленцой. – Мне не нужны свидетели. Открывай.

Звякнули ключи. Боковая дверца, через которую вошёл Матвей, была в десяти шагах от главной. Он оставил её неплотно прикрытой. Если они пойдут через неё…

Они пошли через главную. Железная дверь со стоном отъехала. Внутрь хлынул лунный свет, и вместе с ним – запах. Не запах времени. Сладкий, тяжёлый запах духов. Как от дамы.

Матвей отступил за кирпичный столб у боковой дверцы и прижался к нему спиной.

Двое вошли в склад. Жохов зажёг фонарь – не прикрытый, яркий – и свет залил столы с пустыми корпусами. Второго Матвей не видел: тот стоял за спиной Жохова, в тени, в длинном плаще с капюшоном. Видны были только руки. Узкие, белые, в перстнях. Руки прошлись над пустыми корпусами, как над клавишами, не касаясь.

– Сколько сегодня? – спросил бархатный голос.

– Восемь длинных привезли. Шесть квадратных увезли. Считай сам, у меня цифры в голове не держатся.

Руки в перстнях взяли со стола тетрадь в клеёнке. Перелистнули. Матвей перестал дышать. Если сейчас этот человек откроет последнюю страницу…

Руки закрыли тетрадь.

– Двести восемьдесят семь, – сказал бархатный голос. – Хорошо. Тринадцать доберём за неделю. А ключ?

– Часовщик не отдаёт. Кузьма ночью лазил. Не нашёл. Нос ему часовщик сломал.

– Кузьме полезно. – В голосе послышалась усмешка. – А где ключ?

– Где-то у него. Под полом, может.

– Не под полом, – сказал бархатный голос задумчиво. – Он умный. Он положил его туда, где тикает. Чтобы тиканье спрятать в тиканье. – Пауза. – Ничего. Часовщик пусть пока ходит. Он упрямый, но не дурак. Когда поймёт, что за ним вся слобода ляжет пеплом, сам принесёт. Таких, как он, не ломают. Таких убеждают.

– А если не принесёт?

– Тогда у прачки есть ещё годы. И у её сына. Живые годы бывают не только в ломбардах, Семён.

Матвей стиснул зубы.

– Идём, – сказал бархатный голос. – Здесь воняет.

Фонарь погас. Шаги удалились. Железная дверь со стоном закрылась, звякнул замок. Ворота проскрипели. И тишина.

Матвей стоял у столба, прижавшись к нему спиной, ещё очень долго. Потом вышел через боковую дверцу. Уста сидела у стены, обхватив колени, и, увидев его, вскочила.

– Живой?

– Живой.

– Я их только у ворот увидела. Они пешком пришли, без подводы. Один в котелке, тот самый. А второй в плаще, лица не видно. От него пахло… – она сморщилась.

– Знаю. Духами.

– Ага. Как от купчихи. Аж в носу засвербело. – Уста посмотрела на него. – Ты чего там нашёл?

Матвей не ответил. Он запер боковую дверцу отмычкой, оставив всё как было, и только когда они перебрались через загородку обратно во двор пекарни, сказал:

– Мне нужно в Кожевенный переулок. Прямо сейчас.

– Ночью?

– Ночью. Пока не поздно.

Петька, сын Ефросиньи, открыл им дверь в одной рубахе, со свечой в руке, сонный и испуганный. Матвей прошёл к кровати. Ефросинья лежала так же, как вчера, на спине, сложив руки. Глаза её были открыты.

Он сел на край кровати, достал ланцет, трубку, корпус сто семнадцать. Обтёр её запястье. Ввёл иглу.

– Что это? – шёпотом спросил Петька.

– Мамкино время, – ответил Матвей. – То, что осталось.

Он повернул головку корпуса. Серое свечение, тусклое, неровное, потекло по трубке. Его было мало – может, неделя, может, две. Всё, что уцелело. Матвей смотрел на струйку и ждал.

Ефросинья вздохнула. Глубоко, со всхлипом, как вздыхает человек, вынырнувший из воды. Повернула голову. Посмотрела на свечу в руке у сына.

– Петенька, – сказала она хрипло. – Ты чего не спишь?

Петька уронил свечу.

Свеча покатилась по полу, Уста подхватила её, пока не занялся половик. Петька не заметил. Он стоял, вцепившись в спинку кровати, и смотрел на мать, и губы у него тряслись.

– Мамка, – сказал он. – Ты меня помнишь?

– Да что ж ты такое говоришь, – Ефросинья нахмурилась и попыталась сесть. Матвей придержал её за плечо, пока не вынул иглу. – Как же мне тебя не помнить. Ты Петька. Ты у меня в Покров родился, в самый снег. – Она замолчала, поводила глазами по комнате. – А батька где?

– Батька в шорной, – прошептал Петька. – Спит. Он каждую ночь там спит, с тех пор как ты…

– С тех пор как я что?

Петька не ответил. Он ткнулся лицом матери в плечо и заревел – громко, по-детски, навзрыд, как не ревел, наверное, всю эту неделю.

Ефросинья гладила его по голове и смотрела на Матвея поверх его макушки.

– Я вас знаю, – сказала она медленно. – Вы… я у вас что-то брала. Нет. Отдавала. Летом. Я сидела в кресле и смеялась. А почему смеялась – не помню.

– Вы вспоминали, как прыгали через костёр, – сказал Матвей. – В девках. На Ивана Купалу.

Она долго молчала.

– Не помню, – сказала она наконец. – Совсем. Будто и не было никогда. – Она посмотрела на свои руки. – А ведь было, да? Раз вы говорите.

– Было.

– Жалко, – сказала Ефросинья просто. – Хорошее, наверное, было.

Матвей свернул трубку, убрал ланцет. Корпус сто семнадцать опустел окончательно, теперь уже по-настоящему, но эта пустота была другая – не украденная, а возвращённая.

На улице светало. Кожевенный переулок лежал в сером, сыром полумраке, над чанами поднимался пар. Уста шла рядом с ним, засунув руки в рукава куртки, и молчала до самого Хлебного двора.

У пекарни она остановилась.

– Ты ей вернул, – сказала она. – Не всё. Но вернул.

– Неделю. Может, две. Остальное сгорело.

– А она теперь не помнит про костёр.

– Не помнит.

Уста подумала.

– А если бы я тот час не забрала у Лукьяна назад, – сказала она, – я бы потом тоже не помнила, как мама косу плела?

– Если бы его сожгли – да.

Уста кивнула. Очень серьёзно, как взрослая.

– Тогда я их найду, – сказала она. – Всех. Кто это делает.

– Мы найдём, – поправил Матвей.

– Ну, мы, – согласилась Уста. – Только ты без меня всё равно не найдёшь. Ты собак боишься.

Она нырнула в дверь пекарни. Матвей постоял немного, слушая, как за стеной гудят печи, как первые подводы въезжают на Хлебный двор. За пазухой у него лежали три страницы с именами мёртвых и живых, а в сумке – жестянка с пеплом чужой памяти.

Пять недель до Долгой ночи.

Глава 8. Сыскная управа

Шершнев жил не в управе и не на казённой квартире, а в мансарде над табачной лавкой на Дровяной улице, куда вела наружная лестница в сорок две ступени. Матвей сосчитал их, пока поднимался. Было семь утра. Он не спал вторую ночь подряд, и ступени казались ему круче, чем были на самом деле.

Он постучал. За дверью долго было тихо, потом что-то упало, кто-то выругался, и дверь распахнулась. Шершнев стоял на пороге в нижней рубахе, в подтяжках, с намыленной щекой и бритвой в руке.

– Я же писал – сидите тихо, – сказал он.

– Я и сидел. В подвале. На мешке с мукой.

Шершнев посмотрел на него – на серое от бессонницы лицо, на пятно засохшей крови на воротнике, на сумку, которую Матвей прижимал к боку, – и посторонился.

Мансарда была тесная, под косым потолком, заставленная книгами так, что они лежали стопками на полу, на подоконнике, на стульях. Пахло табаком, холодным чаем и мылом. У окна стоял стол, заваленный бумагами, у стены – узкая железная кровать, аккуратно застеленная, по-солдатски. Над кроватью висела фотографическая карточка в рамке: девочка лет семи в белом платье, с бантом.

– Садитесь, – Шершнев сбросил со стула стопку книг. – Чаю нет, плита не топлена. Говорите.

Матвей сел. Вынул из-за пазухи три страницы. Положил на стол. Рядом поставил жестянку из-под леденцов.

Шершнев дотёр щёку полотенцем, сел напротив и стал читать. Читал он медленно, шевеля губами, водя по строчкам пальцем, как читают люди, которые поздно выучились грамоте. Дочитал первую страницу. Вторую. На третьей палец остановился у последних строк.

– «Клёнова М. И. Живой. Ключ», – прочитал он вслух. – Это ваша прачка?

– Моя.

– «Нужно триста и ключ». Триста – чего?

– Лет. Чистого времени. Без памяти.

Шершнев поднял глаза.

– Объясните.

Матвей объяснил. Склад на Хлебном. Столы с пустыми корпусами, сотни. Медный котёл. Труба. Стеклянный сосуд с серым инеем на стенках. Пепел в топке, который, если взять его в пальцы, показывает чужие лица. Возчики, привозящие длинные ящики и увозящие квадратные. Тетрадь. Человек в плаще с белыми руками в перстнях. Бархатный голос. Запах духов. Ефросинья Лаптева, которая этой ночью вспомнила имя сына, но так и не вспомнила, как прыгала через костёр.

Шершнев слушал, не перебивая. Только один раз встал, подошёл к окну, распахнул форточку и снова сел.

Когда Матвей замолчал, пристав долго смотрел на жестянку.

– Откройте, – сказал он.

Матвей снял крышку. Пепел внутри лежал серой горкой, лёгкий, неподвижный.

– Возьмите щепоть, – сказал Матвей. – Только не нюхайте и не сыпьте на язык. Просто возьмите.

Шершнев помедлил. Потом протянул руку, взял пепел двумя пальцами, большим и указательным, и поднёс к глазам.

Пепел шевельнулся.

Матвей видел, как изменилось лицо пристава. Как дрогнули складки у носа, как расширились зрачки, как приоткрылся рот. Это длилось одно мгновение, не больше. Потом пепел осыпался, и Шершнев сидел, глядя на свои пустые пальцы.

– Что вы увидели? – тихо спросил Матвей.

– Мужика, – хрипло сказал Шершнев. – Старого. На лодке. Он сети тянет, а в сети рыба бьётся. Большая. Сом, наверное. И он смеётся. Беззубый, а смеётся. – Пристав отряхнул пальцы о колено, резко, будто стряхивал паука. – Это чьё?

– Не знаю. Огурцов Ф., может быть. Он в списке есть. Три года, сожжено.

Шершнев взял страницу, нашёл строку.

– Огурцов Фрол, – сказал он. – Рыбак с Нижней пристани. Помер две недели назад. Записали – от старости. Ему было пятьдесят четыре. – Он положил страницу. – Я эту запись видел. Сам подписывал, что дела нет. Думал – опился, бывает.

Они помолчали.

– Ну, вот что, – сказал наконец Шершнев. Он встал, снял со спинки стула китель и стал застёгиваться. – Я поднимаю людей. Через час будем на Хлебном. Котёл, сосуд, тетрадь, корпуса – всё описываем, всё изымаем. Пепел – тоже. Возчиков – найдём, они не иголка. Этого вашего, в котелке, Жохова, возьму сам, давно хотел. А там посмотрим, кто запоёт.

– Склад будет пуст, – сказал Матвей.

Шершнев остановился, не дозастегнув верхнюю пуговицу.

– Почему?

– Потому что человек в плаще сказал: «Он упрямый, но не дурак». Обо мне. Он знает, что я рядом. Он не знает, что я был внутри, – иначе меня бы оттуда не выпустили. Но он узнает. Утром, когда кто-нибудь откроет тетрадь и увидит, что вырваны страницы.

– Тогда тем более надо спешить.

– Надо, – согласился Матвей. – Но он узнает раньше. Через вашу управу.

Шершнев застегнул пуговицу.

– Вы опять про уши.

– Фому убили через сутки после того, как он со мной поговорил. Я написал об этом только вам. Записку взял буфетчик «Медведя». А дальше она пошла к вам. Как?

– Через полового. Мальчишка носит мне утром газеты из «Медведя». В газету вкладывают.

– Вы читали её дома?

– В управе. – Шершнев помолчал. – За своим столом. Утром. Потом сжёг в печке.

– Сразу?

– Не сразу. – Пристав потёр переносицу. – Положил под пресс-папье. Пошёл к начальнику, по другому делу. Вернулся через полчаса, сжёг.

– Полчаса, – сказал Матвей.

Шершнев ничего не ответил. Достал из кармана папиросу, сунул в рот, не зажигая. Долго жевал.

– Хорошо, – сказал он наконец. – Хорошо. Так. Людей беру не из управы. Возьму трёх своих, с кем двадцать лет. Им верю. Остальным скажу, что еду на пожар в Заречье. – Он посмотрел на Матвея. – Вы со мной?

– Да.

– Тогда пошли.

Они не успели дойти до двери. Снизу, с улицы, по сорока двум ступеням загрохотали сапоги. Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял тот самый молодой городовой, что водил Матвея в Нижнюю слободу. Красный, запыхавшийся, с выпученными глазами.

– Ваше благородие! – выпалил он. – Ещё один! То есть одна! В Рыбных рядах! Пустая! Совсем молодая, ваше благородие! И это… ваше благородие… она не сыплется. Она горит.

Рыбные ряды тянулись вдоль Версты от Каменного моста до самой Нижней пристани. Лотки, навесы, бочки с солёной рыбой, корзины с живой, развешанные на верёвках сети, запах тины, соли и потрохов. Обычно здесь с рассвета было не протолкнуться. Сегодня толпа стояла плотным кольцом у последнего навеса, и над толпой висела тишина.

Шершнев прорезал её локтями. Матвей шёл следом.

Под навесом, на куче старых сетей, лежала девушка. Лет двадцати, не больше. В простом ситцевом платье, в переднике, с мокрыми от росы волосами. Прачка, понял Матвей, ещё не видя рук. Руки у неё были красные, в трещинах. Лицо – серое, пыльное, как у Прохора. И глаза открыты.

Но она не сыпалась.

От неё поднимался дым. Тонкий, сизый, едва заметный, будто от тлеющего угля. Он сочился из её кожи, из волос, из открытых губ и медленно, лениво уходил вверх, под навес, и там, у самой парусины, таял. Пахло палёным волосом. Тем самым запахом, что Матвей слышал ночью в складе на Хлебном.

– Господи, – сказал кто-то в толпе. – Господи помилуй.

Шершнев присел рядом. Не касаясь, посмотрел на руки, на шею, на запястья.

– Ключарёв.

Матвей присел с другой стороны.

На левом запястье девушки, там, где пульс, была рана. Не крошечная белая точка, как после обычного ланцета, а звезда. Шестилучевая, с рваными краями, чёрная, будто прижжённая.

– Гранёный ланцет, – сказал Матвей.

– Объясните.

– Обычный ланцет – круглая игла. После него остаётся точка. Этот – гранёный. Шесть граней, шесть лучей. Его делали при десятине, для Сторожа. Чтобы брать много и быстро. Лукьян, старик из-под Каменного моста, говорил мне, что у Кузьмы Дёгтя такой. Тот самый, что ломился ко мне ночью.

– Деготь, – повторил Шершнев. Он вынул записную книжку, записал. – Почему она горит?

Матвей смотрел на сизый дымок, поднимающийся от лица девушки.

– Потому что её время сейчас жгут, – сказал он. – Прямо сейчас. Где-то. Его у неё взяли ночью, все годы, что были, и увезли. И кто-то сейчас, этим утром, выпаривает из него память. А нить ещё не порвалась. И она горит на этом конце нити.

– Можно её… – Шершнев не договорил.

– Нет. Не всё равно, сколько я отдам. Ей нужно лет сорок, чтобы снова стать живой. А у неё ничего не осталось, кроме того, что сейчас горит.

– Её имя, – сказал Шершнев, обернувшись к толпе. – Кто знает её имя?

– Луша, – отозвалась старуха в толпе, торговка с корзиной раков. – Лукерья Скворцова. Прачка с Мыльной. Тут рядом бельё полощет, на мостках. Всегда полощет. Каждое утро. Весёлая такая. Песни поёт.

«Скворцова Л. – 8 (ночн.) – зачерк.»

Восемь лет было в списке. Это значит, восемь лет вынули ночью, в первый раз. Зачёркнуто – умерла. Но она не умерла. Она лежала здесь, на сетях, и горела. Значит, Кузьма приходил к ней второй раз. Взял остальное.

Или – Матвей похолодел – список врал. Зачёркнутые не мертвы. Зачёркнутые – это те, кого уже нечего взять. А потом приходят ещё раз. За тем, что осталось.

Он посмотрел на лицо девушки. Сизый дым шёл всё слабее. Губы шевелились. Матвей наклонился.

– …бе… лый… на… лив, – выдохнула Лукерья Скворцова.

И дым кончился. Она не рассыпалась. Она просто перестала. Лицо осталось серым, глаза открытыми, но в них больше ничего не было – ни взгляда, ни отблеска, ничего. Как в пустом корпусе с откинутой крышкой.

Матвей выпрямился. Шершнев стоял рядом и смотрел на него.

– Опять яблоки, – сказал пристав. – Что, у всех в этом городе один сад?

– Похоже на то, – сказал Матвей.

Он не знал, что это значит. Знал только, что это не случайность. Ни одна. Ни Марфа в его кресле, ни Прохор на пороге, ни эта девушка на сетях. Все они перед концом видели одно и то же. Белый налив. Сад. Детство.

Как будто у всех у них внутри, в самом дне, лежало одно общее воспоминание. Не каждого. Города.

На Хлебный двор они приехали через полтора часа. Шершнев взял трёх своих: седого вахмистра Тихона, широкого, как шкаф, и двух братьев Ершовых, похожих друг на друга, как два сапога. Все четверо были в штатском. Матвея посадили на облучок пролётки рядом с вахмистром.

Склад был открыт. Железная дверь распахнута настежь. Собак у ворот не было – только пустая будка и обрывок цепи.

Внутри было пусто.

Не так, как было ночью. Совсем. Столы стояли, но на них ничего не было. Стеллажи стояли – голые. Котёл исчез вместе с кирпичным основанием: на его месте в полу темнела яма, засыпанная свежим песком. Трубы сняты. Сосуд увезли. Тетради не было. Конторского стола не было. Даже пепел из топки вымели – топки тоже не было.

Только на стенах, на кирпичах, на сводчатом потолке лежал серый налёт, похожий на иней, и пахло так сладко и густо, что вахмистр Тихон, едва вошёл, начал тереть глаза.

– Что за дух? – пробормотал он. – Будто в церкви на Пасху. Или в морге.

Шершнев молча прошёл склад от стены до стены. Постоял у ямы. Пнул песок сапогом.

– Сколько нужно времени, чтобы вывезти всё это?

– Котёл весит пудов двадцать, – сказал Матвей. – Сосуд – пять. Плюс кладка, трубы. Нужно человек шесть и две подводы. И часа три работы. Минимум.

– Вы ушли отсюда в два часа ночи.

– Около того.

– Я узнал о складе в семь утра. Сейчас половина десятого. – Шершнев посмотрел на часы. – Значит, начали вывозить раньше. Не ждали, пока я узнаю.

– Ждали, пока пройдёт смена, – сказал Матвей. – Им нужно было выжечь последнюю партию. Луша Скворцова горела в шесть утра. Значит, котёл ещё работал. Потом его погасили, разобрали и увезли.

– За три часа.

– Значит, людей у них больше шести.

Шершнев снял фуражку, провёл рукой по редким волосам и снова надел.

– Ершов, – сказал он, не оборачиваясь. – Младший. Опроси Мохова, пекаря. И всех, кто живёт на дворе. Кто что видел, кто что слышал, во сколько, куда поехали подводы. Старший – по Солодовой, до самого конца, по всем дворникам. Тихон – со мной.

Братья Ершовы молча ушли. Шершнев повернулся к Матвею.

– А вы, – сказал он, – идите домой и спите.

– Я…

– Спите, Ключарёв. – Голос пристава был жёсткий, без всякой иронии. – Вы двое суток на ногах. Вы отдали час покойнику, вас ночью били, вы видели то, что не должен видеть никто, и вы еле стоите. Мне вы нужны живой и с головой. – Он помолчал. – И ещё. Вашу прачку я

возьму под присмотр. Тихон поставит у её двери своего племянника. Племянник туп как пень, но здоров как бык и предан как собака. Мимо него никто не пройдёт.

– Спасибо.

– Не за что. – Шершнев отвернулся и уставился на яму в полу. – Знаете, Ключарёв, я ведь вам вчера не до конца верил. Думал – бывший гильдейский, обиженный, ищет, на кого бы свалить свою девушку в кресле. Такие часто бывают. Всем кажется, что виноват кто-то другой.

– А теперь?

– А теперь у меня на сетях в Рыбных рядах лежит девчонка, которая дымилась, как головешка. И я не знаю, на кого это свалить. – Пристав сплюнул в песок. – Ступайте.

Матвей пошёл к воротам. На полпути он обернулся.

– Шершнев.

– Ну?

– Девочка на карточке, у вас над кроватью. Это кто?

Шершнев долго молчал, не поворачиваясь.

– Дочь, – сказал он наконец. – Её звали Варя. Ей там семь. Восьми ей так и не исполнилось.

– Простите.

– Не за что, – повторил пристав. – Ступайте, Ключарёв. Мне работать надо.

Матвей вышел за ворота. День был ясный и холодный, первый по-настоящему осенний день. Над Хлебным двором висела мучная пыль, гремели подводы, кричали весовщики. Никто из них не знал, что в старом складе за пекарней Мохова этой ночью сожгли чью-то память. Никто не знал, что на сетях в Рыбных рядах лежит прачка Луша, которая каждое утро пела на мостках.

У пекарни его ждала Уста.

– Ну? – спросила она.

– Пусто, – сказал Матвей. – Всё вывезли.

– Я знаю, – сказала Уста. – Я видела. Ночью. Ну, утром. В пятом часу. Я не спала, после того как ты ушёл, сидела у окошка. Приехали четыре подводы. Восемь человек. Котёл тащили вшестером. А ещё один стоял у ворот и командовал. Кузьма. С битым носом. Нос у него в тряпку замотан. – Она шмыгнула. – И я знаю, куда они поехали.

– Куда?

– Не по Солодовой. По Солодовой они нарочно поехали, а потом свернули в переулок и назад, к реке. По Дегтярному. А там вниз, к самой воде, к старой переправе. Там баржа стояла. Плоская такая, без мачты. Они всё на неё перетаскали, и подводы тоже пустые вкатили, вместе с лошадьми. И оттолкнулись. И поплыли вниз, по течению. В туман. Я на мостках стояла, пока видно было. А потом не видно стало. – Она помолчала. – Только плеска не было. Совсем. Баржа большая, а плыла – как по маслу. Будто не по воде.

Матвей смотрел на неё.

– Ты бежала за четырьмя подводами в пятом часу утра.

– Ну да. А чего?

– Ничего, – сказал Матвей. – Ты шершневских сыщиков стоишь втроём.

– А сколько они получают?

– Больше тебя.

– Вот видишь, – сказала Уста. – Значит, мне надо прибавить.

Дома он лёг, не раздеваясь, на узкий топчан за занавесью, рядом с креслом отмерщика, и уснул прежде, чем успел подумать о том, что надо бы снять сапоги.

Ему снился сад.

Не бабушкин и не мамкин. Большой, старый, на склоне холма, сбегающем к реке. Яблони стояли рядами, такие высокие, каких он никогда не видел, с серыми узловатыми стволами, и

ветки у них гнулись до земли под тяжестью белых, почти прозрачных яблок. Налив. Белый налив. Пахло так, что кружилась голова: мёдом, нагретой травой и чем-то ещё, сладким и пыльным, знакомым до боли.

По саду шли люди. Много людей, мужчины и женщины, в старинных одеждах, в долгополых кафтанах и вышитых рубахах. Они шли медленно, вверх по склону, и каждый нёс в руках что-то маленькое, светящееся тусклым серым светом. Наверху, на вершине холма, там, где кончались яблони, стоял столб. Просто деревянный столб, высокий, потемневший. А на столбе висел круг. Не циферблат – просто круг из светлого дерева, и по кругу ползла тень, как по солнечным часам.

Люди подходили к столбу по одному и клали к его подножию то, что несли. И уходили обратно, вниз, в сад. И, уходя, улыбались.

Матвей стоял среди яблонь и смотрел. Рядом с ним, под самой старой яблоней, сидел человек – древний, сгорбленный, с белой бородой до пояса, в простой холщовой рубахе. Он смотрел на столб и чему-то кивал.

– Что они несут? – спросил его Матвей во сне.

Старик повернул голову. Глаза у него были мутные, бледные, почти белые, как у слепого.

– Дни, – сказал он. – Каждый по дню. Чтобы город стоял.

– Зачем?

– Затем, что время любит, когда его дарят, – сказал старик. – А когда его продают, оно голодает.

Он отвернулся к столбу. И Матвей проснулся.

Было темно. Маятник стучал в углу. Колокол Ратуши бил полночь, и Матвей лежал и считал удары, и после двенадцатого вынул часы и посмотрел при свете из окна.

Колокол опоздал на целую минуту.

Глава 9. Сто сорок лет

Верхний город начинался за Ратушной площадью и поднимался по склону холма террасами, как ступени огромной лестницы. Здесь не было ни грязи, ни вони, ни тесноты. Улицы были широкие, мощёные гладким камнем, обсаженные липами. Дома стояли поодаль друг от друга, за чугунными оградами, в глубине садов, и каждый был похож на маленький дворец: колонны, балконы, лепнина, высокие окна с зеркальными стёклами. Здесь жили те, кто мог позволить себе покупать время.

Дом Агаты Ворожейкиной стоял на самой верхней террасе, на Садовой, и из его окон, говорили, был виден весь город, от болот до излучины Версты. Матвей бывал в нём однажды, одиннадцать лет назад, ещё отмерщиком Гильдии. Тогда его прислали провести вливание: госпожа Ворожейкина купила на торгах четыре года и желала принять их на дому. Он запомнил тот день, потому что после него долго не мог отделаться от ощущения, что прикасался к чему-то неправильному.

Привратник в ливрее с золотым галуном долго рассматривал его визитную карточку – «Ключарёв М. А., закладчик, Сутяжная» – и долго не открывал ворота. Потом всё-таки открыл и повёл по аллее к дому, держась на два шага впереди, как ведут подозрительного торговца.

В прихожей пахло цветами. Живыми – здесь, в ноябре, в вазах стояли розы, лилии, гиацинты. Матвей ждал в малой гостиной, отделанной голубым шёлком, разглядывая портреты на стенах. Портретов было много, и на всех была изображена одна и та же женщина. Молодая, темноволосая, с крупными серыми глазами и твёрдым ртом. В разных платьях, в разных причёсках, на фоне разных садов. Под каждым портретом – маленькая бронзовая табличка с годом. Самый ранний был написан сто десять лет назад. Самый поздний – в прошлом году. Женщина на них не менялась. Менялись только платья.

– Похожа? – спросил голос за спиной.

Матвей обернулся.

Агата Ворожейкина стояла в дверях. Она выглядела точно так же, как на последнем портрете. Лет тридцати, может быть, чуть больше. Тёмные волосы, уложенные в высокую причёску. Серые глаза. Платье тёмно-зелёного бархата с высоким воротом. На шее – нитка жемчуга. Ни одной морщины. Ни одного седого волоса.

Только руки её выдавали. Руки были молодые, гладкие, белые, но держала она их странно – сложив на груди, вцепившись пальцами одной руки в запястье другой, как держат руки очень старые люди, когда им холодно.

– Здравствуйте, Агата Никитична.

– Ключарёв, – сказала она, внимательно его разглядывая. – Я вас помню. Вы мне вливали четыре года. Одиннадцать лет назад, в мае. Сирень цвела. Вы были молодой и очень серьёзный, и у вас дрожали руки.

– У меня не дрожали руки.

– Дрожали. Не снаружи. Внутри. Я такое вижу. – Она прошла к креслу у окна и села, расправив юбку. – Садитесь. Я велела подать кофе. Вы ведь не пьёте вина в это время дня?

– Не пью.

– Я так и думала. – Она чуть улыбнулась. – Вы тогда тоже ничего не пили. И смотрели на меня так, будто я ведьма.

– Я так не смотрел.

– Смотрели. Все смотрят. Привыкаешь. – Агата помолчала. – Зачем вы пришли, Ключарёв? Мне доложили, что вы теперь закладчик на Сутяжной. Закладчики ко мне не ходят. Я покупаю только на торгах и только через Гильдию.

– Именно поэтому, – сказал Матвей. – Вы покупаете время дольше всех в этом городе. Вы знаете рынок лучше, чем Гильдия. Я хочу спросить вас о ценах.

Она удивлённо подняла брови.

– О ценах?

– За последние два месяца что-нибудь изменилось?

Вошла горничная с подносом. Кофе в тонких фарфоровых чашках, сливки, сахар, печенье. Агата подождала, пока горничная выйдет, и только тогда ответила.

– Изменилось, – сказала она. – Цены на торгах выросли вдвое. С сентября. Сначала я думала – неурожай, зима близко, люди держатся за своё. Так бывает. Но потом поняла, что дело не в этом. На торги просто перестали выставлять годы. Раньше на каждых торгах было тридцать, сорок лотов. Теперь – пять, шесть. И те мутные, тяжёлые, с плохим осадком. Хорошие годы, чистые, кто-то перехватывает. До торгов.

– Кто?

– Не знаю. – Агата отпила кофе. – Я спрашивала в Гильдии. Мне сказали, что это временное колебание. Что закладчики стали больше продавать частным лицам. Что всё законно. – Она поставила чашку. – Я живу на свете сто сорок один год, Ключарёв. Я помню, как отменяли десятину. Я помню, как Гильдия скупила все частные ломбарды и потом раздала им бумаги заново, только уже своим. Я помню три войны и два мора. Я знаю, как выглядит, когда кто-то тихо прибирает рынок к рукам. Вот так он и выглядит.

– Вам предлагали купить вне торгов?

Она посмотрела на него долгим взглядом.

– Почему вы спрашиваете?

– Потому что кто-то скупает годы сотнями. Только за последнюю неделю – около трёхсот. Через подставного поверенного. И я хочу знать, кому он их продаёт.

– Триста, – медленно повторила Агата. – Это много.

– Это очень много. И я не думаю, что их покупают, чтобы жить.

– А для чего же ещё покупают время?

– Не знаю. Поэтому и спрашиваю.

Агата встала, подошла к окну. За окном, далеко внизу, лежал город: красные и серые крыши, шпили церквей, белый циферблат Ратуши, серебряная лента реки. И дальше, за рекой, у самых болот, – тёмная полоса Нижней слободы.

– Мне предлагали, – сказала она, не оборачиваясь. – Месяц назад. Человек пришёл от… неважно от кого. Предложил чистые годы. Совсем чистые. Без осадка. Без снов. Тысячу рублей за год. Это в десять раз дороже торгов.

– И вы купили?

Она долго молчала.

– Один, – сказала она наконец. – На пробу.

– И как?

Агата обернулась. Лицо её было спокойным, но пальцы на запястье сжались так, что побелели костяшки.

– Вы знаете, каково это, Ключарёв, – жить сто сорок лет? Нет, не знаете. Вам кажется – это много. Много лет, много зим, много радостей. А на самом деле это много снов. Каждый купленный год приходит со своими снами. Я покупала годы у прачек, у солдат, у монахинь, у пьяниц, у девиц на выданье, у стариков. И каждую ночь, все эти сто лет, я вижу их сны. Не свои. Их. Я помню, как рожала шестерых детей, хотя у меня не было ни одного. Я помню, как меня били мужья, которых у меня не было. Я помню, как тонула в Версте, как горела в пожаре на Дровяной, как замерзала под забором. Я помню сто чужих первых поцелуев и сто чужих похорон матерей. – Она перевела дыхание. – Иногда утром я не знаю, как меня зовут. Иногда я говорю чужими голосами. Слуги привыкли. Они делают вид, что не слышат.

– А чистый год?

– А чистый год, – сказала Агата, – это тишина. Я его приняла, и в первую ночь не увидела ни одного сна. Ни одного. Впервые за сто лет. Я проснулась и плакала от счастья. – Она отвернулась к окну. – А потом поняла, что этот год – пустой. Не в том смысле, что в нём нет времени. Время есть. Я живу им. Но в нём нет ничего. Ни запаха, ни цвета. Будто дышишь воздухом, из которого вынули всё, кроме того, что нужно, чтобы не задохнуться. Я ем – и не чувствую вкуса. Нюхаю розы – и не чувствую. Это длится уже месяц.

Матвей слушал её и думал о пепле в топке, о лице смеющейся девки над костром, о седом рыбаке, который тянет сети с бьющимся сомом.

– Вы знаете, откуда берутся чистые годы? – спросил он.

– Мне сказали – из нового способа отмера. Гильдия изобрела.

– Их делают из обычных. Выжигают осадок. В медном котле. Память сгорает, и время остаётся пустым. А человек, у которого это время взяли, теряет память вместе с ним. Не только ту, что была в проданном годе. Всю. Он забывает своё имя. Своих детей. Он сгорает изнутри, даже если это был всего один год.

Агата не обернулась. Но плечи её под тёмным бархатом напряглись.

– Вы лжёте, – сказала она.

– Вчера в Рыбных рядах умерла прачка Лукерья Скворцова. Двадцать лет. Пела на мостках каждое утро. Она умирала, а из неё шёл дым. Потому что в это время где-то жгли её годы. Может быть, тот, что вы купили, тоже был чей-то такой.

Агата медленно повернулась. Лицо её было белым.

– Уходите, – сказала она.

– Агата Никитична…

– Уходите. – Голос её вдруг изменился. Стал ниже, грубее, хриплым, деревенским, совсем чужим. – Уходи, барин. Мне тут с тобой разговоры разговаривать недосуг, у меня бельё не полоскано.

Она замолчала. Схватилась рукой за горло. Глаза её расширились от ужаса. Когда она заговорила снова, голос был прежний.

– Простите. Это… это бывает. Я же говорила.

Матвей встал.

– Я ухожу. Но прежде чем уйду – последний вопрос. Тот человек, который предложил вам чистые годы. От кого он пришёл?

Агата смотрела на него. Губы её дрожали.

– Я не могу сказать.

– Почему?

– Потому что тогда меня перестанут… – она осеклась. – Неважно. Я не могу.

– От него пахло духами? Сладкими?

Она вздрогнула. Этого оказалось достаточно.

– Спасибо, – сказал Матвей.

Он уже был у двери, когда она окликнула его.

– Ключарёв.

– Да?

– Подождите. – Агата отошла от окна, вернулась к креслу, но не села. Стояла, держась за спинку. – Я вам кое-что скажу. Не о нём. О другом. Вы спрашивали, для чего ещё можно покупать время, кроме как для жизни. Я не знаю ответа. Но я знаю, что в Нижней слободе что-то происходит.

– Что?

– У меня там три дома. Доходных. Я их сдаю. Месяц назад управляющий пришёл и сказал, что жильцы съезжают. Все. Говорят, в домах нечисто. Я поехала посмотреть. – Она помолчала.

– Дома были новые. Я их строила восемь лет назад. Кирпичные, крепкие. А когда я приехала, они стояли так, будто им лет сто. Штукатурка осыпалась. Рамы сгнили. Крыши провалились. Двор зарос бурьяном, а в бурьяне – берёзы. Берёзы, Ключарёв. В человеческий рост. За месяц.

– Может быть, управляющий воровал и не следил…

– Я тоже так подумала. Я его выгнала. Но потом я пошла по улице. И на соседних домах было то же. Не на всех. На некоторых. Вдоль одной линии. Как будто кто-то провёл черту, и по одну сторону – обычный город, а по другую – время течёт по-другому. Быстрее. Или не течёт совсем, а стоит и гниёт. – Агата судорожно сглотнула. – И часы. Я заметила это, когда уезжала. На стене одного дома висели часы. Простые, ходики. Хозяева бросили. Они стояли. Я посмотрела на свои – тоже стоят. А когда отъехала шагов на двести – пошли. Сами.

– Где это?

– Кривая улица. У старого колодца. Вниз, к болоту.

– Спасибо, – снова сказал Матвей.

– Не благодарите. Я вам это говорю не из доброты. – Агата посмотрела на него, и в её серых глазах, под гладкой молодой кожей, вдруг мелькнуло что-то очень старое и очень усталое. – Я говорю, потому что мне страшно. Мне сто сорок один год, и я впервые за сто лет боюсь умереть. Не от старости. От того, что там, за чертой. Старики в слободе называют это Безвременьем. Говорят, оно пришло, потому что часы на Ратуше голодные. Говорят, когда они остановятся совсем, Безвременье придёт и сюда. В Верхний город. Ко мне.

– Вы в это верите?

– Я ни во что не верю, Ключарёв. Я слишком долго живу. – Она отвернулась. – Но берёзы за месяц я видела своими глазами.

Матвей вышел.

Привратник проводил его до ворот так же молча, как встретил. На Садовой было тихо, только где-то в саду за оградой дворник сгребал опавшие листья. Матвей шёл вниз по террасам, к Ратушной площади, и думал.

Ипполит Бельский сказал ему, что Гильдия не имеет отношения к часам уже шестьдесят лет. Агата Ворожейкина сказала, что старики в слободе связывают Безвременье с голодом часов. Прохор Усачёв перед смертью прошептал: «Те, что на башне, умирают. А новые будут сытые». А Лукерья Скворцова, и Прохор, и Марфа – все они в последний миг видели один и тот же сад. И сам Матвей видел его во сне. Яблони на склоне холма. Люди, несущие к столбу свои дни. Слепой старик под деревом.

«Время любит, когда его дарят. А когда его продают, оно голодает».

У подножия холма, на углу Садовой и Ратушной, стояла маленькая лавка парфюмера. Матвей проходил мимо неё сотни раз, не замечая. Теперь заметил. Вывеска – золотые буквы на чёрном: «Ромуальд Крот. Духи, помады, притирания. Поставщик двора Гильдии Отмера».

Он остановился. Постоял. Толкнул дверь.

Внутри было тесно, душно и так пахло, что щипало глаза. Сотни флаконов на полках, хрустальных, стеклянных, фарфоровых. Маленький сгорбленный человек за прилавком – лысый, с огромным крючковатым носом и в бархатной ермолке – поднял голову от весов, на которых взвешивал какой-то порошок.

– Чем могу?

– Мне нужны духи, – сказал Матвей. – Сладкие. Очень сладкие. Тяжёлые. Как розы, только гуще. С чем-то вроде мёда.

Парфюмер долго смотрел на него.

– Для дамы? – спросил он.

– Для мужчины.

Парфюмер снял очки. Протёр их. Надел обратно.

– Таких духов, – сказал он, – я делаю один флакон в месяц. Для одного заказчика. И больше ни для кого. Это условие договора. Прошу прощения.

– Как они называются?

Парфюмер поколебался.

– «Вдовья роза», – сказал он наконец. – Но вы их всё равно не купите. Даже если предложите всё золото Верстани.

– А кто заказчик?

– Этого я вам не скажу, – мягко ответил старик. – Вы ведь Ключарёв? С Сутяжной? Я вас знаю, вы мне чинили настенные часы. Хорошо починили, до сих пор идут. Поэтому я вам скажу другое. Идите отсюда, молодой человек. И не возвращайтесь. И никому не говорите, что спрашивали про «Вдовью розу». Мне ещё жить хочется.

Он взял с прилавка свои весы и отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

На прилавке, рядом с весами, лежала стопка счетов, приготовленных к отправке. Верхний был адресован «Его Высокородию господину главе Гильдии Отмера И. С. Бельскому. За октябрь: один флакон, по договору».

Матвей посмотрел на него ровно столько, сколько нужно, чтобы прочитать. Потом вышел.

На Ратушной площади было людно. Торговки продавали горячие пироги, мальчишки – газеты, где-то играла шарманка. Над площадью возвышалась башня Ратуши, и белый циферблат Больших часов смотрел вниз, на город, безмятежно и строго.

Стрелки показывали без пяти два.

Матвей вынул свои часы. Без двух минут два.

Большие часы отставали на три минуты. И никто на всей площади, кроме него, этого не замечал.

Раньше, вспомнил он, стрелки шли точно, хотя колокол опаздывал. Значит, кто-то подводил их каждую ночь, прятал отставание. А теперь перестал. Или перестал успевать.

В лавке его ждала Уста. Она сидела за верстаком на его табурете, болтая ногами, и разглядывала в лупу разобранный брегет, не прикасаясь к нему, – видно, усвоила урок про волосок.

– У прачки твоей теперь сторож, – доложила она, не поднимая головы. – Здоровенный. Митрофаном звать. Сидит на крыльце, семечки лузгает. Я мимо прошла, он меня за шиворот схватил, говорит – куда. Я говорю – к Марфе, от Ключарёва. Он отпустил. Но долго смотрел.

– Как Гриша?

– Кашляет. Но меньше. Марфа говорит, ночью спал. Она тебе пирог передала. С капустой. Я половину съела. – Уста наконец подняла глаза. – Ты где был?

– В Верхнем городе. У одной дамы.

– У какой?

– Ей сто сорок один год.

Уста присвистнула.

– Старая, что ли? Страшная?

– Красивая, – сказал Матвей. – И очень несчастная.

Уста подумала над этим.

– Сто сорок лет – и несчастная? Чего ей не хватает-то?

– Своих снов.

Уста посмотрела на него как на сумасшедшего, но спрашивать не стала. Матвей сел напротив, на табурет для закладчиков, отломил кусок пирога и долго жевал, глядя на стену с ячейками.

– Завтра, – сказал он, – пойдём в Нижнюю слободу. На Кривую улицу. К старому колодцу.

– Зачем?

– Посмотреть на одну черту.

– Какую черту?

– Если я скажу, ты не поверишь.

– А ты скажи.

– За этой чертой, говорят, стоят часы. И дома стареют за месяц на сто лет. И берёзы растут во дворах в человеческий рост.

Уста помолчала.

– Это Безвременье, – сказала она тихо. – Я про него слышала. Бабки на рынке говорят. Говорят, туда кто зайдёт, тот назад не выйдет. А кто выйдет, тот своё имя забудет.

– Тогда я пойду один.

– Ещё чего, – сказала Уста. – Ты же без меня собак боишься.

– Там нет собак.

– А может, есть. Откуда ты знаешь? – Она слезла с табурета. – Утром приду. Рано. Пирог доешь, а то зачерствеет.

Она ушла. Матвей доел пирог, запер дверь и долго сидел в темноте у верстака. В углу мерно стучал маятник Гаря, и Матвей впервые подумал, что этот стук похож на сердце. Неторопливое, упрямое сердце, которое бьётся за всех, кто живёт в этом доме, и за ту, чей год спит у него внутри. Он подумал о том, что завтра надо бы зайти к учителю. И снова не решил, о чём его спросить.

Глава 10. Нижняя слобода

Кривая улица оправдывала своё имя. Она начиналась у дровяных складов, петляла между огородами, ныряла в овраг, выныривала из него и уходила вниз, к болоту, изгибаясь так, будто её прокладывал пьяный. Дома на ней стояли как попало – то лицом к улице, то боком, то задом, – и между ними тянулись покосившиеся плетни, за которыми мокли под дождём капустные кочерыжки.

Дождь шёл с утра. Мелкий, холодный, ноябрьский, такой, что не капает, а висит в воздухе, и через полчаса ты мокрый насквозь, хотя ни одной капли на себе не почувствовал. Матвей шёл в старом брезентовом плаще, Уста – в своей куртке, накрыв голову мешком, как капюшоном. Под мешком торчал только нос.

– Далеко ещё? – спросила она в третий раз.

– Колодец должен быть внизу. У болота.

– А ты там был?

– Нет.

– А откуда знаешь, что он там?

– Мне сказали.

– Кто, твоя старуха?

– Она не старуха.

– Сто сорок лет – не старуха? – Уста хмыкнула под мешком. – Ну-ну.

Чем ниже они спускались, тем тише становилось вокруг. Сначала Матвей не понял, в чём дело. Потом сообразил: собаки. В Нижней слободе собаки лаяли всегда, из каждого двора, на каждого прохожего. А здесь не лаяли. Дворы стояли пустые. Двери – где закрытые, где распахнутые настежь. В окнах ни огонька, ни дыма из труб.

– Тут никто не живёт, – шёпотом сказала Уста.

– Похоже на то.

Они прошли ещё два двора. На третьем, у калитки, сидел на корточках мужик в рваном армяке и курил трубку. Увидев их, он вынул трубку изо рта.

– Куда идёте?

– К колодцу, – сказал Матвей.

– Не ходите.

– Почему?

Мужик сплюнул.

– Там Серое. – Он махнул трубкой вниз по улице. – Неделю назад было у Кузнецовых. Это вон там, где берёза. Теперь уже у Пахомовых. Три двора за неделю. Скоро до меня дойдёт. Я уж и вещи сложил. Завтра с бабой к шурину в Заречье.

– Что такое Серое?

– А я почём знаю, – мужик пожал плечами. – Серое и есть. Зайдёшь – часы встанут. Постоишь – имя забудешь. Посидишь – и сам станешь, как они. – Он кивнул куда-то вниз.

– Как кто?

– Как пустые. Их там много ходит. – Мужик снова сунул трубку в рот. – Ты, барин, если охота пропасть, иди. А девку не бери. Девка-то при чём?

– Я сама, – сказала Уста из-под мешка.

– Ну, сама так сама, – сказал мужик и отвернулся.

Они пошли дальше.

Берёзу, о которой говорил мужик, Матвей увидел издали. Она стояла посреди двора Кузнецовых – прямая, белая, в человеческий рост, с облетевшими ветками. Под ней лежала опрокинутая собачья будка. Дом за берёзой был почти цел: стены стояли, крыша держалась. Но

стёкла в окнах помутнели, стали серыми, как бельма, а наличники, ещё недавно, видно, крашенные голубой краской, облупились до голого дерева, и дерево это было серое, рассохшееся, в глубоких трещинах.

Сразу за двором Кузнецовых начиналась черта.

Её было видно. Не глазами – не было ни забора, ни канавы, ни какой-нибудь линии на земле. Но Матвей остановился, не дойдя до неё шага, и Уста рядом с ним тоже остановилась, хотя он её не придерживал. Они стояли и смотрели.

По эту сторону – обычная улица. Мокрая трава, грязь, лужи, в лужах – дождевые круги. По ту – всё то же самое, только серое. Не тусклое, не туманное, а именно серое, будто краски выцвели, как на старой картинке. Дождь по ту сторону не шёл. Матвей видел, как капли долетают до какой-то невидимой границы и… не падают. Не исчезают. Просто висят в воздухе, неподвижно, как бусины на нитке.

– Ой, – тихо сказала Уста.

Матвей вынул свои часы, открыл крышку, послушал. Тикали. Вытянул руку с часами вперёд, над чертой. Тиканье замедлилось. Стрелка – секундная – поползла медленно-медленно, как муха по мёду. Дошла до следующего деления и остановилась. Он отдёрнул руку. Тиканье вернулось.

– Вот оно, – сказал он.

– Ты туда пойдёшь?

– Ненадолго.

– Я с тобой.

– Нет.

– Да.

Матвей посмотрел на неё. Уста стояла, вздёрнув подбородок, и из-под мешка на него смотрели упрямые зелёные глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.